

Л 64  
К-63688

**ЛИТЕРАТУРА  
НАРОДОВ  
УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ**

**Хрестоматия**



к-063688

СЕНТЯБРЬ

28

27

26

4

3

Обязат. 83.3 (21/28)  
164  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

4р  
**ЛИТЕРАТУРА  
НАРОДОВ  
УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ**

**Хрестоматия**

Чебоксары  
2012

УДК 821(470.4/5)(075.8)

ББК Ш43(235.54)я73

Л64

*Редакционная коллегия:*

*В.Г. Родионов*, д-р филол. наук, профессор (гл. редактор); *А.Ф. Мышкина*, д-р филол. наук (редактор-составитель); *Е.П. Чекушкина*, канд. филол. наук; *Г.Г. Ильина*, канд. филол. наук; *В.А. Абрамов*, канд. филол. наук; *И.Ю. Кириллова*, канд. филол. наук; *Л.Ю. Трофимов*, канд. филол. наук; *О.Г. Владимирова*, канд. филол. наук; *И.В. Софронова*, канд. филол. наук

**Л64** **Литература народов Урало-Поволжья: хрестоматия / сост.** и науч. ред. А.Ф. Мышкина. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2012. – 228 с.

ISBN 978-5-7677-1685-2

Приведены произведения национальных авторов литератур народов Урало-Поволжья, сыгравших важную роль в становлении и дальнейшем развитии как отдельных литератур, так и всей региональной литературы.

Для студентов I-V курсов филологических факультетов, аспирантов, преподавателей и научных работников.

Утверждено Учебно-методическим советом университета

Проверено 27 MAR 2017

ISBN 978-5-7677-1685-2

УДК 821(470.4/5)(075.8)

ББК Ш43(235.54)я73

© Издательство Чувашского университета, 2012

© Мышкина А.Ф., составление и научное редактирование, 2012

K-63688

Национальная библиотека  
Чувашской Республики

## Предисловие

Глубинные, сущностные различия между литературами народов Урало-Поволжья очевидны. Своими оригинальными и самобытными, в то же время в какой-то степени общими, чертами обладают как тюркские литературы региона (татарская, башкирская), так и финно-угорские литературы (марийская, мордовская, удмуртская, коми). Однако для понимания урало-поволжского литературного процесса немаловажны, в первую очередь, уникальные, индивидуальные, незаменимые и независимые факты каждой отдельной национальной литературы. Национальные литературы живут общей жизнью только потому, что они не похожи одна на другую. Именно это обуславливает специфичность эволюции литератур. Но при всем разнообразии путей и темпов развития отдельных литератур Урало-Поволжья, все они имеют общую историю развития как литературы одного единого культурно-исторического региона.

Данная особенность развития национальных литератур отдельно взятого региона легла в основу хрестоматии «Литература народов Урало-Поволжья», составители которой при выборе творчества отдельно взятых писателей и их произведений исходили из принципа единства и многообразия национальных литератур.

Материал хрестоматии в полной степени отражает объективную картину развития национальных литератур. Данная работа имеет практическое значение для изучения динамики развития словесной культуры народов Урало-Поволжья, а также для изучения истории развития литературы, в том числе и истории определенной национальной литературы. Учебное пособие «Литература народов Урало-Поволжья» предназначено для студентов специальности «Филология», но может являться большим подспорьем и для разработки теоретических положений словесности урало-поволжского региона.

Редакционная коллегия выражает огромную благодарность за помощь и консультирование по подбору материалов д-ру филол. наук, проф. Р.А. Кудрявцевой (марийская литература), д-ру филол. наук, проф. В.И. Демину (мордовская литература), д-ру филол. наук, проф. Т.И. Зайцевой (удмуртская литература).

# БАШКИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

## АКМУЛЛА

(1831 – 1895)

Родился в башкирской д. Таксанбаево Белебеевского уезда (ныне Миякинского района Республики Башкортостан). Акмулла проповедовал просветительские идеи, рассматривал поэзию как средство непосредственного общения с народом. Он писал свои стихи большей частью в классической форме рубаи, но мастерски владел и другими поэтическими формами. Взгляды, идеалы, философские представления Акмуллы родились в процессе борьбы против феодальной отсталости, религиозного фанатизма и проявлений средневековой схоластики в литературном творчестве, в борьбе против притеснения башкирского народа в Башкортостане и Казахстане.

### Башкиры, учитесь!

Башкиры, учитесь, башкиры, учитесь!  
Средь нас просвещенных немного, сознайтесь!  
И как на Урале медведя боитесь,  
Вот так же невеждою быть опасайтесь!  
Коварство всегда обернется бедою,  
Всегда обернется величием знанье –  
Ученый летает, плывет над водою,  
И он не святой, не творит заклинаний!  
Над знающим будут преграды не властны,  
Запретное станет священным, возможным.  
Захочет открыть он родник государства –  
И путь покорится ему непреложно.  
К шести единицу прибавив скорее,  
Получишь не десять, а только бесславье!  
Без знаний, что грозного льва посильнее,  
Свой сон никогда ты не сделаешь явью!

## ЗАЙНАБ БИИШЕВА

(1908 – 1996)

Родилась в д. Туембетово (ныне Кугарчинский район Башкортостана). Народный писатель Башкортостана, прозаик, поэт, драматург, переводчик. Окончила Оренбургский башкирский педагогический техникум (институт народного образования). Зайнаб Биешева писала в разных жанрах: ее перу принадлежит несколько произведений для детей и юношества, она выступает как тонкий лирик и талантливый драматург. Писательница избиралась членом правления Союза писателей Республики Башкортостан, делегатом многих съездов писателей Российской Федерации и СССР. Награждена тремя орденами «Знак Почета». Лауреат Государственной республиканской премии имени Салавата Юлаева (1968).

### Думы, думы... Кюнхылу

*Отрывок из повести*

Кюнхылу не спеша направилась к большой дороге мимо полей подсолнечника, которыми, точно огненно-желтыми шапками, были сплошь покрыты и соседние сырты. Навестив звено пропольщиков, она решила сходить и на сенокос, находившийся за Сакмаром. Эта пыльная дорога, протянувшаяся через сырт от аула к станции, всегда властно притягивала ее к себе. Почему-то всякий раз, шагая по ней, она словно отдыхала душой, а от нахлынувших воспоминаний сердце начинало биться в груди так тревожно и радостно, будто и в самом деле ожидало ее впереди что-то неожиданно отрадное и важное.

Вот и сегодня не удержалась она от свидания с этой дорогой. Поднявшись на вершину горы, Кюнхылу остановилась возле кудрявой березки, сиротливо стоявшей на обочине. Припав плечом к ее раскачивающемуся под ветром, тонкому изогнутому стволу, она немного постояла так, глядя на запад, куда сбегала дорога, расходясь от развилки, как река, на несколько рукавов. Потом, тяжело вздохнув, Кюнхылу повернула к аулу, ступая осторожно и мягко, точно боясь вспугнуть дорожную пыль.

Шел четвертый год войны... Ровно три года назад возле этой березки простилась Кюнхылу со своим любимым мужем Галимом. День этот запомнился ей душным и мрачным. От беспощадной

жары окаменела и растрескалась земля, покрывшись глубокими трещинами. Даже пыль обессиленно никла к ногам. Багрово-красное небо напоминало тлеющие угли, подернутые золой. И мертвая тишина вокруг. С надоедливym жужжанием лишь кружат над крупом лошади слепни и шмели, заставляя ее мотать головой, усердно нахлестывать себя хвостом по бокам и прядать в бессильном гневе ушами. Назойливые насекомые жалят бедное животное где только могут, и лошадь то и дело пытается достать себя под брюхом копытом. На миг слепни с пронзительным звоном взвиваются вверх, но тут же снова пикируют на свою жертву. Как бы хотелось ей умчаться от этих маленьких кровожадных мучителей, распластав по ветру свой роскошный хвост, но узда крепко стягивает морду, и лошади ненавистен мальчик, сидящий на передке телеги и изо всех сил дергающий вожжами.

Наконец они поднялись на вершину горы, которую все называют Девичьей. На обочине дороги встретила их молчаливо и застенчиво эта скромная березка, точно и она понимала всю великую важность мгновения. Молча остановились они около одиноко выросшего деревца. Галим расстегнул воротник рубашки и, вытирая платком красное, в обильном поту лицо, молча смотрел на деревню, лежащую далеко внизу. Потом резко обернулся, будто вспомнив о чем-то, и каким-то обновленным взором разом охватил и печальные черные глаза, темнеющие на округлом, с мягким овалом лице, и две толстые косы, ниспадающие на плечи, — все, что он так любил и с чем должен был сейчас расстаться.

— Ну, прощай, Кюнхылу!..

Он неловко прижал к себе жену, голос его дрогнул и прозвучал как-то отчужденно и глухо. Он закрыл глаза, всем существом своим ощутив мелкую дрожь ее тела. Так и стоял с закрытыми глазами, и мерещились ему пятилетняя дочка Зифа и трехлетний сынишка Зуфар, оставшиеся дома. Он обнимал жену, а казалось, что это пухлые ручонки дочери обвили в последний раз его шею, и широко раскрытые испуганные глаза сына неподвижно смотрят на него, словно из небытия. И снова Зифа, выбежавшая за ворота, когда они уже отъезжали, кричавшая вслед: «Папа, папочка, возвращайся скорее! А то мы будем плакать!»

Обветренными, потрескавшимися губами Галим прикоснулся к пылающему лбу Кюнхылу, обняв за плечи, повернул в сторону деревни.

Так и стояли они, обнявшись, глядя на родной аул. Лежал он перед ними как на ладони. Словно вобрав в себя красоту окружающей природы, цвел он сейчас бархатно-темной зеленью и казался отсюда невиданно огромным садом, в котором каким-то чудом затаились крыши домов. Серебряной излучкой выгнулся за ним Сакмар, к берегам которого припал ивняк и гордо высились тополя. А еще дальше, за рекой, насколько хватало глаз, простирались бесконечные луга с мелкими озерцами в тине и ветлах. И в самые засушливые годы луга эти не знали засухи и даже жарким знойным летом всегда зарастали густой и сочной сенокосной травой. Сейчас луга были уже скошены, и небольшие круглые стожки разбежались по ним до самого горизонта.

На этом берегу Сакмара, там, где вместе с последней жердиной изгороди обрываются заросли черемухи, начинается охровожелтое поле пшеницы, резким пятном выделяющееся на сплошной зелени соседней лесополосы.

За дальним концом деревни, у подножия невысоких холмов, идут выпасы, на которых привольно пасется скот. Поэтому и здешние овцы всегда считались по всей округе самыми жирными, нагулянными. Да, пожалуй, это был единственный уголок, куда словно бы не дошло еще зловещее эхо войны, которая идет уже два с лишним месяца.

— Видишь, родная, как все-таки здорово мы живем. Какой у нас колхоз! — шепчет Галим, не отрывая воспаленных глаз от широко распахнувшегося простора.

— Да, да, вижу...

— А если видишь... Сберегите.

Кюнхылу молча кивает, стараясь взять себя в руки, достойно вынести тяжесть расставания.

— Да, да, конечно...

Она чувствует, что Галим искоса наблюдает за ней, и изо всех сил сдерживается, молча сглатывая слезы. Краем глаза заметила улыбку на его лице и удивилась. Неужели сейчас можно улыбаться? И чему? А может, именно сейчас и нужно улыбаться, а не плакать? Чтобы ему было легче уходить... И она тоже попыталась улыбнуться. Но и сама почувствовала, какой жалкой и горькой вышла у нее улыбка.

– Конечно-то конечно, а вот сама не захотела остаться вместо меня председателем, – мягко укоряет он ее. – Думала, я так хочу. А народ тебя заставил... Верно ведь?

– Не хотела я бросать школу... – виновато шепчет Кюнхылу. – Я ребят люблю... Все же я учительница...

– Не волнуйся, все будет хорошо. Народ тебя выбрал, народ тебе и поможет.

– Я спокойна... – слушавила Кюнхылу, понимая, что ничего исправить все равно уже нельзя, и сердцем чувствуя, что не надо его расстраивать.

– Ну вот и хорошо, что ты спокойна. И у меня на душе легче... Значит, я пойду...

Последнее, что помнит Кюнхылу, – это крепкое торопливое объятие мужа. И не успела она и глазом моргнуть, как норовистая гнедая унеслась прочь, взяв с собой и половину ее сердца. Скоро телега с седоками скрылась за поворотом, откуда, она знала, дорога шла напрямиком к станции.

Давно уже осела пыль, поднятая копытами гнедой, и березка, точно боясь нарушить наступившую тишину, все так же тихо и застенчиво стояла на обочине, опустив резные клейкие листочки. А Кюнхылу, как прикованная, все не могла сдвинуться с места, отупело глядя на серую, лоснящуюся от толстого слоя пыли дорогу, которая увела ее любимого далеко-далеко, на войну. Слезы, которые она сдерживала при Галиме, неудержимо потекли по щекам. Кюнхылу не старалась да и не хотела больше сдерживаться. Она стеснялась слез на людях, и ей хотелось выплакаться наедине. Вспомнились дети, и первым порывом ее было – скорее бежать назад, в деревню, к ним, но ноги точно вросли в землю. А слезы все так же неудержимо катились и катились из глаз, принося ей хоть малое облегчение.

Проходили минуты. А может быть, и часы?

Внезапно землю потряс мощный удар грома. Неизвестно откуда взявшаяся туча зловещей черной громадой нависла над сыртом, точно норовя придавить его своим разбухшим от влаги брюхом и пугая громовыми раскатами. Тихоня березка закрипела, застонала под ветром, который стал безжалостно гнуть ее из стороны в сторону, пригибая к земле. Зашумели ветвями, словно предупреждая об опасности, стоявшие поодаль деревья.

Порывистый с дождем ветер рванул косы Кюнхылу, будто желая унести их с собой, парусом забил о колени подол платья. И в тот же миг сквозь деревья пробился слепяще-яркий острый язык молнии и сразу же следом словно разорвался купол неба — и хлынул тяжелый, как свинец, ливень.

Кюнхылу вздрогнула, очнувшись от своих нескончаемых воспоминаний. Она торопливо вытерла ладонями лицо, точно умылась дождем и слезами, и побежала вниз по склону. Вслед ей неслись тоскливые причитания березки, будто жалующейся на свою сиротскую судьбу...

Проводив Галима, Кюнхылу с головой ушла в заботы и дела колхоза. Год выдался необычайно урожайным, и чтобы собрать и сохранить без потерь все хлеба, что так щедро уродились, надо было бросить на уборку все силы. И тут уж многое зависело от нее, от ее умения и гибкости руководителя.

Горькими были первые вести с фронта, и с каждым днем все напряженнее становилась в колхозе работа. Что ни день, на войну уходили все новые и новые добровольцы, и колхоз лишался крепких рабочих рук. Не ко времени, будто желая испытать стойкость людей, нередко приводя их в отчаяние, пошла в наступление непогода. Дни и ночи ливневые дожди полоскали налитые зерном колосья, ураганные ветры сносили стога, сшибали и развеивали копны, прижимали к земле нескошенную траву. Но чем больше свирепствовала непогода, тем упрямее и напористее становилась Кюнхылу, для которой работа после ухода мужа стала единственной отрадой и целью жизни. Даже бывалые мужики немало дивились ее энергии, решительности и невольно подчинялись каждому ее распоряжению.

В колхоз часто заглядывал и помогал советами секретарь райкома Зайниев. После ухода на фронт Галима, одного из лучших председателей в районе, секретарь был озабочен судьбой колхоза, всегда ходившего в передовых. Выдюжит ли женщина, да еще «учителка»? Какой у нее может быть хозяйственный опыт от тетрадей и парт? Но и он скоро убедился, что Галим передал хозяйство в надежные руки. Понял, что недаром тот так настаивал на ее кандидатуре. А ведь он, Зайниев, грешным делом заподозрил председателя в необъективности, отмолчался. А на собрании был приятно удивлен, что колхозники единодушно

проголосовали за Кюнхылу и никого больше знать не хотели на председательском месте. «Чем покорила их эта женщина?» – недоумевал он тогда про себя. Теперь же и сам знал твердо – характером! Значит, односельчане и раньше знали, какую напористую силу таит в себе эта невысокая обаятельная женщина. Так что ни о какой личной прихоти Галима не могло быть и речи. «И откуда только взялись у нее такие организаторские способности?» – радуясь, недоумевал он при каждой новой встрече. И всегда-то она появлялась вовремя и там, где что-то не получалось, не клеилось, где нужно было ее твердое слово, ее личный пример, будто чувствуя, что именно здесь ее больше всего ждали. Она не любила повышать голос – где шуткой, где улыбкой, всем своим видом, спокойной решительностью вселяла в людей бодрость. А если нужно было, она сама впрягалась в работу так, что тем, кто отлынивал, стыдно становилось и отговориться было нечем... Глядя на нее, с уверенностью можно было сказать, что она знает, во имя чего им всем следует трудиться, выбиваться из сил; она-то не сомневается: мы выстоим, победим...

И вряд ли кто знал, что, возвратясь поздно вечером домой, она нередко падала как подкошенная и билась подстреленной птицей в слезах – от непомерной усталости, отчаяния и тревоги за мужа. Но этой ее слабости никто не видел, даже собственные дети. Они всегда были накормлены и уложены спать. И тогда, только тогда можно было расслабиться, дать волю тоске и горю.

И Галим словно чувствовал ее состояние. Писал часто – письма шли одно за другим. Правда, коротенькие, иногда всего в несколько строк. Но такие нужные ей письма... Кюнхылу знала, что он начал воевать под Москвой, потом оказался в окопах Сталинграда. Долгое время писем не было, и сердце ее сжималось от тоски, но вдруг пришла долгожданная весточка – оказывается, он был ранен. Конечно, ранения, а их было уже три, «были пустяковыми», и он писал, что «за него ни в коем случае не надо ей беспокоиться...». Галим умел писать о самом страшном так бодро, словно и не о войне шла речь... Прижимая письма Галима к груди, Кюнхылу пыталась вообразить себе его на фронте. Какой он? Как воюет? Но это ей не удавалось, потому что – увы! – не слишком-то ясно представляла она себе жестокую правду войны. И только когда приходили в аул похоронки, она вдруг с жуткой отчетливостью осознавала, что там – гибель, смерть и что смерть может не обойти и его, Галима!..

Она и не заметила, как прошла зима. Кажется, всю ее так и пробегала – то на фермы, то с возчиками к стогам: как они там, не заледенели, подмокнув с осени? То навевывалась в школу, разносила директоршу за плохо отапливаемые классы. «Что, мало дров? Пожалуйста, вот вам разрешение на вывоз дров. Слава богу, лес рядом. Но надо мобилизовать всех учителей и родителей – дело это общее. А колхоз выделит и лошадей и сани».

Беда была с механизацией. Ушел последний тракторист в армию, и некому наладить агрегаты: заглохли моторы сразу двух «козлов», как звали шутя колесные трактора. А девушка, единственная теперь в колхозе механизатор, не очень-то умело справлялась с техникой. Иногда у Кюнхылу появлялась шальная мысль: а что, если самой сесть за трактор? И села бы, да разговор с Зайниевым вселил в нее надежду – пообещал ей секретарь райкома найти тракториста.

Слово свое он сдержал. Весной появился в ауле занятный парень, рябой, прихрамывающий на левую ногу и без конца сосущий здоровенную «козью ножку» с такой едкой махрой, что от дыма ее мутило за три шага. Звали его Масгутом, и говорил он на каком-то странном наречии, на каком, видимо, изъяснялся только он один. Впрочем, обнаружилось это не сразу, потому что другого такого молчуна, как этот хромой тракторист, наверное, свет не видел. А развязала ему язык, сама о том не думая, старушка Мастура, к которой поселили парня. Жила она одиноко, нуждалась в помощи по хозяйству и сначала было обрадовалась жильцу, но, оглядев его нескладную худую фигуру, рябое невыразительное лицо, «козью ножку» во рту, от которой несло каким-то крепчайшим зельем, поморщилась и с сомнением покачала головой.

– Будешь дома курить – не пушу, – решительно заявила она.

Масгут промолчал, и Кюнхылу пришлось за него вступиться:

– Что ты, апай? С какой стати он будет курить дома. Верно, Масгут?

Масгут равнодушно посмотрел на председателя и едва заметно усмехнулся.

Откровенно сказать, Кюнхылу хотелось тут же отправить его назад, туда, откуда явился. В душе она сердилась на Зайниева, приславшего будто в насмешку какого-то чудака. Но так

сильна была нужда в трактористе, что она скрепя сердце попыталась смягчить Мастуру.

– Мастура-апай, чего уж там... Парень он тихий, работающий. Да и тебе по хозяйству поможет...

Когда Масгут, словно и впрямь не желая огорчать старушку, выбросил окурок, Кюнхылу обрадовалась.

– Ну вот видишь, а ты, апай, беспокоилась.

И почти насильно втокнула Масгута в дом, боясь, как бы в последнюю минуту старушка не заартачилась, и тогда – считай все пропало.

Вечером того же дня, возвращаясь с поля, она заметила возле дома Мастуры несколько девушек из бригады Гульнур, которые стояли у дверей и то и дело прыскали и заливались смехом. Недоумевая, пошла в их сторону, с тревогой ожидая какой-нибудь новой причуды новичка. Увидев ее, девушки хотели разбежаться, но тут самая смелая из них, Гайша, остановилась. Обратив к Кюнхылу веселые глаза, лукаво спросила:

– Кюнхылу-апай, хотите послушать концерт?

– Что еще за концерт? – нахмурилась Кюнхылу, предчувствуя неладное.

– А вы послушайте.

Кюнхылу подошла ближе к двери и застыла на месте. Из дома доносились какие-то странные завывания, похожие не то на кошачьи, не то на крик выпи... Сразу нельзя было догадаться, что звуки эти означали мелодию. Да, это была песня! И у нее были слова – невнятные, маловразумительные, но слова! И пел эту песню не кто иной, как Масгут. Завывания становились все громче и жалостнее, и вот можно уже разобрать отдельные слова. А еще спустя некоторое время Кюнхылу начала постигать смысл того, о чем пелось. А пелось, оказывается, о любви к какой-то Вале или Ляле, и любовь та была, судя по настроению певца, безответно-печальной. Но, бог мой, какая путаница слов, сколько наречий смешалось! Тут были и башкирские, и татарские, и чувашские, и русские слова, и еще невесть какие, которые мог объяснить только сам Масгут.

Девушки опять прыснули. А Кюнхылу стало горько и досадно. Все ясно: Зайниев подsunул ей сумасшедшего. Но почему? За что? Чем провинилась она перед секретарем райкома?..

Она хотела было уже отойти, как распахнулась дверь и на крыльцо вышла старушка Мастура. Глаза у нее припухли и покраснели.

– Что там происходит? – спросила Кюнхылу, стыдясь, что стоит и подслушивает вместе с девушками.

– Да ничего не происходит, – меланхолично ответила старушка. Она, кажется, и внимания не обратила на то, что у ее дверей собрались люди. – Поет он...

– Как поет? Почему?..

– Да угостила я его кислушкой, вот и запел... Не парень, а блаженный он, святой...

Как потерянная, шла Кюнхылу к своему дому, намереваясь завтра же поехать в район и наговорить резкости Зайниеву.

Однако, ко всеобщему удивлению, «блаженный» на другой день чуть свет был уже на колхозном дворе, где безнадежно уныло стоял единственный, еще пригодный к работе, колхозный трактор. К обеду у него уже затарахтел мотор и весело засверкали, словно обновленные, все его металлические части. Даже ржавые шипы на больших задних колесах были начищены новым хозяином до блеска. Когда пораженная Кюнхылу подошла к Масгуту в сопровождении свиты любопытных, он сказал ей на том особом наречии, которое можно было понять лишь по наитию:

– Сегодня будем начать вспашка...

И действительно, после обеда выехал в поле с тяжелым плугом на прицепе и работал почти без передышки до позднего вечера. Только и остановился, чтобы перекусить. Так Масгут сразу и бесспорно завоевал у колхозников доверие и авторитет. Ну а кличка «блаженный», с легкой руки старушки Мастуры, с тех пор так и прилипла к нему.

## **РАВИЛЬ БИКБАЕВ**

(1938)

Родился в д. Верхне-Кунакбаево Покровского района Оренбургской области. Окончил филологический факультет Башкирского государственного университета. После окончания университета в 1962–65 гг. учился в аспирантуре Института истории,

языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Современная башкирская поэма», в 1996 г. – докторскую диссертацию. С 1995 г. – председатель правления Союза писателей Республики Башкортостан, является секретарем правления Союза писателей России. Плодотворно сочетает занятия наукой с многогранной литературной деятельностью.

\*\*\*

Вчера на Агидели лед пошел...  
Тяжелые свинцовые лавины,  
Как годы детства, сказочные льдины  
Поплыли мимо городов и сел.  
Я помню, зажигали мы костры,  
Чтоб, освещая сумрачные дали,  
Они на льдинах ласково пылали,  
Несли частицу нашей доброты.  
Плывут костры по рекам на виду  
У шумных городов и сел попутных...  
И мне подумалось сегодня почему-то:  
Вся наша жизнь – как те костры на льду.

## **РАМИ ГАРИПОВ**

(1932 – 1977)

Родился в д. Аркаул Салаватского района Башкирской АССР в семье колхозника. Народный поэт Башкортостана. Он известен и как мастер художественного перевода. Результатом его переводческой деятельности явилась книга «Моя антология» (1991).

За критическое отношение к советской национальной политике талантливый поэт подвергался преследованиям. Многие стихи остались неопубликованными при жизни поэта. В 1988 г. ему посмертно присуждена Республиканская премия имени Салавата Юлаева. Являлся членом Союза писателей СССР с 1960 г.

## Родной язык

О родной язык, о красивый язык,  
Отца и матери язык! (Г. Тукай)

Я, как пчела в саду цветущем, в поле,  
Как жемчуга искатель в глубине,  
Тружусь, веду свой поиск, и все боле  
Родной язык волнует душу мне.  
Сэсэнна сказ и матери напевы  
Для жизни он вобрал, а не для лжи.  
В нем колосятся праотцов посевы,  
В нем жив мой предок,  
Правнук будет жив,  
К народам-братьям с ним прийти я вправе  
Чтоб он звучал среди языков других.  
Кто низким вздумал бы язык наш ставить.  
Сам не высок тот в помыслах своих.  
Чьим сыном без него назваться мне бы,  
Чтоб общий подвиг с братьями вершить?  
Есть у меня с ним и земля, и небо,  
Я без него – безвестный, без души.

## МАЖИТ ГАФУРИ

(1880 – 1934)

Родился в д. Зилим-Караново Стерлитамакского уезда Уфимской губернии (ныне Гафурийский район Башкортостана). По национальности татарин. Первое стихотворение – «Шакирдам ишана» – было написано Гафури в 1902 г. В 1904 г. в Оренбурге вышла его первая книга «Сибирская железная дорога, или положение нации». Первая русская революция и её последствия меняют мировоззрение М. Гафури. После Октябрьской революции (1917 г.) много усилий прилагает для организации периодической печати автономной Башкирской республики – газет «Наш путь», «Свобода», «Борьба», «Красный путь», «Бедняки Востока», «Урал», «Башкортостан», «Новая деревня».

## Ступени жизни

*Отрывок из романа*

### Сорок новых неперенных обязанностей

Казарменная жизнь, ничем не напоминавшая привычного для новобранцев обихода, со всей ее неожиданной и жестокой строгостью, показалась молодым солдатам невыносимо тяжелой.

Помимо ежедневных солдатских учений и изнурительной зубрежки невесть каких премудростей, они были вынуждены чистить сапоги и одежду не только офицеров, но и унтер-офицеров, выполнять различные их поручения, и если они не сразу понимали начальственный окрик, или действовали нерасторопно, или нечаянно шевелились в строю, или не успевали вовремя отдать честь офицеру – их наказывали, заставляя часами выстаивать с винтовкой в деревенеющей руке. Их обблвали и превратили в безвольные, бессловесные, как машины, существа.

Новичкам трудно было запомнить чины своих начальников – фельдфебеля, взводного, ротного, батальонного командира, начальника дивизии – и всевозможные титулы, которые следовало произносить сообразно чинам офицеров, выражая им нижайшее почтение:

- Благородие...
- Высокоблагородие...
- Превосходительство...
- Высокопревосходительство...

Все это нужно было выучить, помнить, не путая, точно адресовать каждый титул и делать это только в надлежащих случаях. Было очень тяжело, встречая офицеров, замирать на месте, остолбенев, взяв под козырек и напряженно выпрямив ноги, стоять в таком положении, пока не пройдет офицер, а услышав что-нибудь из его уст, мгновенно отвечать: «Так точно!» – прибавляя соответствующий титул и всем своим видом выражая рабское подчинение. Это было труднее, чем твердить молитвы, зубрить по религиозным книгам сорок неперенных обязанностей, труднее прежней науки или долгого неподвижного стояния по время намаза.

Необходимость выучить и запомнить царские имена – самого царя, царицы, матери царя и всего потомства – окончательно превращала голову новичка в чурбан.

Для того чтобы они постигли всю премудрость солдатской науки, знали, в каких формах обязаны низшие чины выражать

свое почтение встречным начальникам, как держать себя с ними, и усвоили еще уйму всякой всячины, каждому солдату дали маленькую книжечку и приказали выучить ее.

Хотя эта книга по размерам и напоминала «Условия веры» — книгу религиозного содержания, она резко отличалась от последней и по своему содержанию и тем, что была написана по-русски.

Молодым башкирам и татарам, деревенским парням, которые прежде не знали и того, как называются по-русски хлеб и соль, не умели и писать, вначале было очень трудно понимать и усваивать солдатскую науку.

Но новый знакомый Вахита запоминал все так быстро, словно он и раньше все знал.

— Тебе, верно, трудно выучить все это... — сказал он как-то после тяжелого дня, сочувственно глядя на Вахита.

Он хотел было добавить еще что-то, но его окликнули из отдаленного угла казармы:

— Нури Сагитов!

Он быстро направился туда, откуда раздался голос.

Вахит уже знал, парня зовут Нури, что фамилия его Сагитов, и не переставал удивляться его смелым суждениям.

Хотя Вахита и обижали немного насмешки Нури Сагитова над Ибрагимом и Ходжой Ахметом Ясави и то, что он сравнивал святые истины, изложенные в «Условиях веры», истины, выучиваемые, как фарыз, с солдатской словесностью, которую без устали долбили новичкам, но, поразмыслив немного и решив, что «на свете бывают разные люди, иные ничего не боятся», Вахит подавил свою обиду и, вспомнив в оправдание товарища, что Сагитов не имел счастья учиться в большом медресе, «простил» его.

Так как Сагитов всегда был приветлив, со всеми говорил душевно и искренне, его полюбили не только новички, но и те солдаты, что прибыли год назад и успели свыкнуться с казарменной жизнью. Всеобщая любовь подзадоривала его, подстегивала шутливую натуру Сагитова, и он разрешал себе такое говорить о начальствующих лицах, здешних порядках и «науках», чего другие не смели и помыслить. Под конец он всегда умел обратить свои речи в шутку, смагчая остроту своих смелых слов и ядовитых намеков.

К-63688

Если кое-кто из чересчур благонамеренных солдат пытался по-своему истолковать иронические слова Нури Сагитова о том, что «наши крестьяне и рабочие таковы уж, что не приходится равняться с сильными мира сего», то чистые душой солдаты, только что оставившие соху или фабричный молот, знали цену его шуткам и умели защищать своего любимца.

– Чудак ты, Сагитов! – говорили они. Или:

– Ну и забавный же он, чего только не придумает!

– Если бы не было таких шутников, как бы тянулась наша невеселая жизнь?!

И каждая фраза, и то, как она произносилась, говорили о любви солдат к Сагитову.

Через несколько месяцев Сагитов знал уже все, что положено знать нижним чинам, и его назначили полковым писарем. Но Сагитов нисколько не был восхищен своим новым «чином» – мечтой каждого солдата; он по-прежнему проводил свободное время со старыми товарищами и оставался, прост в обращении. Несмотря на повышение по службе, он ничуть не возгордился, и это только усиливало любовь солдат к нему.

Если солдат чего-нибудь не понимал или не знал, Нури Сагитов охотно помогал ему и терпеливо учил. Вахит испытал это на собственном опыте: он научился у Сагитова многим полезным вещам. Когда представлялась возможность, веселый писарь учил Вахита русским буквам и настойчиво убеждал его не прекращать учебы.

– Нужно знать русский язык, – говорил он серьезно, хмурая смуглый лоб, – без него тебе будет трудно. Хотя для жизни и не к чему запоминать эти титулы и зубрить чьи-то имена, да они для того хоть нужны, чтобы не получать кулаком по лицу и не стоять под ружьем... А ты вот учись хорошо хранить эту винтовку и метко стрелять, это всегда пригодится, – заметил он. Затем, опасливо оглядываясь по сторонам, он продолжал. – Да, она еще понадобится нам. Это очень дорогая штука...

Он часто заканчивал свою речь как-то непонятно для Вахита.

Вахит не знал, как понимать его: то ли винтовка понадобится для войны против врагов царя, то ли для сражения с кяфирами, как это описано в «книге о джихаде»? Вахит не знал, что и думать. Иногда его мучили недомолвки Нури Сагитова, и он решал про себя при удобном случае расспросить писаря, когда именно понадобится винтовка...

## МУСТАЙ КАРИМ

(1919 – 2005)

Родился в д. Кляшево Чишминского района Башкирской АССР, в крестьянской семье. В 1941 г. окончил Башкирский государственный педагогический институт, факультет языка и литературы. С первых дней Великой Отечественной войны и до побед Мустай Карим был на фронте – служил начальником связи. Мустай Карим начал писать в середине 30-х гг. Наиболее известные произведения: сборники стихов и поэм «Черные воды», «Возвращение», «Европа-Азия», «Времена», пьесы «Страна Айгуль», «Похищение девушки», «В ночь лунного затмения», «Салават. Семь сновидений сквозь явь», «Не бросай огонь, Прометей!», повести «Радость нашего дома», «Таганок», «Помилование», «Долгое-долгое детство». Произведения Мустая Карима переведены на десятки языков России и мира.

### Долгое-долгое детство

*Отрывок из повести*

#### Человека родить

Мою Старшую Мать все зовут повивальной бабкой, повитухой, а меня прозвали – «повивальным дедом». Я маленький, я только еле-еле дотягиваюсь до кармана ее белого камзола. Это волшебный карман. Кусочек сахара, горстка изюма, пряничные крошки, сушеная черемуха, каленый горох – разные вкусные вещи то и дело возникают в нем. Иной раз и медные деньги звякнут (а силу денег мы уже знаем!). Словом, карман этот – клад неисчерпаемый...

Вот и сейчас: только сунул руку – как два крупных урюка вкатились в горсть. Один я тут же отправил за щеку. Нет у нас такой ненасытной привычки взять и проглотить что-нибудь вкусное сразу. Я его теперь до вечера буду обсасывать. Второй прячу в карман новых, сегодня впервые надетых штанов. Когда вернемся, этот урюк я разделю между сестренкой и братишкой. Может, с этого дня и мой карман станет для них волшебным. «В щедрые руки добро само плывет», – говорит Старшая Мать.

Мы идем к черному Юмагулу с Нижнего конца нашей улицы. Его жена «заболела на ребенка». Весть эту нам принес сам, бледный, как пепел, Черный Юмагул. Сказал и выбежал, не дожидаясь

ответа. Ясное дело, к ребенку зовут совсем не так, как в гости приглашают. Нет, посыльный, коль он в гости пришел звать, степенно проходит в передний угол, садится на стул. Не спеша, размеренно прочитывает с хозяином молитву. Потом он расспросит о благополучии скота и рода. Хоть он, может, и твой ут курше – самый ближний сосед по огню – все выспросит подробно. Так положено. Что это не пустой обычай, я понял, только когда подрос. Нет, посыльный, коль он в гости пришел звать, своими ушами должен слышать, своими глазами увидеть, что в хозяйстве твоём благополучие, в роду – здоровье и на душе – спокойствие. Ибо человеку с тревожным сердцем может быть и не до застолий.

Надо и то сказать, что в нашем ауле не только по кровнородству знают, но и с положением да богатством сообразуются. У каждого свой круг, своя компания. У каждой компании, как водится, своя застольная: хмельны баи с медовухи. Дует бражку середняк. А из проруби на брюхе похмеляется бедняк.

Мой отец угощается в кругу пьющих брагу. Я это точно знаю. А Черный Юмагул, хотя недавно новый дом с постройками справил, от проруби недалеко ушел. Он, конечно, в нашем доме и глотка холодной воды не глотнул. Впрочем, мой отец дальше порога некоторых домов, где пьют медовуху, тоже не шагнул. Может, не звали, а может, звали, да сам не пошел. Скорее всего, не пошел. Хоть и важное там у них общество, да и не пристало гордому роду из красного угла к двери пересаживаться. Это я теперь, когда сам стал отцом, так думаю.

Нам же со Старшей Матерью все двери широко открыты – и глинобитных, ушедших в землю лачуг, и домов под железной крышей, с высоким крыльцом, с русскими воротами. Кое-какие, знаю, и не открывались бы, да есть кому их открыть. Считаю, в каждом доме весною ли, осенью, днем ли, ночью, в ведро или непогоду – только время настанет, рождается человек. А чтобы встретить человека, нужны мы со Старшей Матерью.

– Видно, наперсница, без него и пути тебе нет, – сказала давеча Младшая Мать, кивнув на меня.

– Да, Вазифа, когда безгрешная душа где-то рядом со мной, и женщины, кажется, легче рожают.

– Будто... – Младшая Мать странно и коротко рассмеялась. – Надо же, как эти двое друг друга приворожили.

– Доля мужа – моя частица. Вот и вся ворожба, – сказала Старшая Мать и вроде бы вздохнула. А может, и не вздыхала.

Что это – «Доля мужа – моя частица»? Смысл этих слов я понял только через многие годы.

– Твое право, – сказала Младшая Мать и опустила голову, словно виноватая. – Чего ни коснешься – вправе ты.

– У каждой из нас – своя вера, у каждой веры – своя истина. Одной правдой мы обе жить не можем. Может, и права я, да только на одну меня моей правды и хватает.

Вот вам и беседа. Вроде бы каждое по отдельности слово моих матерей я понимаю. Но соединятся они – и сразу смысл их из головы как дым разлетается, в воздухе тает. Но в душе остается печаль и смутная тревога.

Эта тоска, расплосовавшая мое сердце надвое, долгие годы не оставит меня. Потому что чувства этих двух женщин пройдут со мной по всем дорогам. Как тени двух лун, будет во мне двойная грусть от их двойной любви. Да, две матери любили меня, и сам я старался свою любовь поделить меж ними равно. Сам себя надвое делил. Придет время не только радость этой любви, я узнаю и ее страдания.

И вот с урюком за щекой я рысцой бегу рядом со Старшей Матерью. Пошли к воротам Черного Юмагула. Хозяин, который плел какую-то веревку перед клетью, бросил работу и побежал открывать ворота. Старшая Мать тут же направилась к дому. Теперь я уже должен буду сам о себе позаботиться. В дом мне хода нет, это давно известно. Коренастый, ладно сбитый Черный Юмагул, помаргивая узкими глазами в припухших веках, умоляет Старшую Мать:

– Пусть уж мальчик будет, уж пожалуйста, мать, первенец ведь, вовек не забуду. Я даже имя припас – Хабибул-ла. Давно берегу.

Старшая Мать легонько похлопала его по спине.

– Ладно, коль выбирать придется, выберем Хабибуллу. Ступай, займись делом, – сказала и исчезла в дверях.

– Уж пожалуйста, мать, – у Черного Юмагула отчего-то дрожат губы.

Он идет к клетки и снова берется за свою веревку. Я взбираюсь на чурбак неподалеку от него, пристраиваюсь поудобнее.

Держу я себя с достоинством, свое место знаю – я повивальной бабки сын. В мелочи не встречаю, у взрослых под ногами не путаюсь. Выбираю себе место по душе и сижу, выдержку показываю. Потому и взрослые в доме, где ждут младенца, не решаются бросить мне: «Эй, мальчик!» – нет, называют полным именем.

Только высидев достаточное время, решаю одарить Черного Юмагула словом.

– Что плетешь? – роняю я.

– Аркан. Когда плетешь, время быстро идет. Ни конца ему, ни края плети и плети.

Черный Юмагул считается человеком замкнутым. О нем говорят, что из него слово лопатой выковыривать нужно. А сегодня у него язык развязался. Он немного помолчал и добавил:

– На этом свете, брат, все на веревке держится. Не будь веревки весь мир бы развалился.

А ведь правда! Без веревки попробуй поживи. Пораженный его словами, я молчу, молчит и Черный Юмагул. Поплетет немного и послушает сторожко, как там в доме, поплетет – и опять. Я уже начал изнывать.

– Когда аркан-то доплетешь?

– Да поплету еще, покуда парень не родится...

– Ого! А вдруг не скоро?

– Родится. А лыка у меня целый воз, хоть пять дней плети.

Раза два показала Старшая Мать. Какая-то молодая женщина принесла три коромысла воды. День уже клонится к вечеру. Тот урюк давно во рту растаял. А косточку я нечаянно в красный сундук, в живот то есть, упустил. Там совсем пусто – только эта косточка перекатывается. Уже перед тем как пригнали стадо, та самая женщина, что за водой ходила, вынесла нам поесть. Хоть и всухомятку, но, заморив червячка, я почувствовал себя веселее.

Я снова принаседился на том чурбаке, а Черный Юмагул принялся за свое лыко. Аркан, если растянуть, наверное, теперь до полумесяца на мечети достанет. Много сплел.

– А зачем тебе такой длинный?

– Вот в этой клетке будет висеть. А как исполнится Хабибулле семнадцать – вручу ему.

– А зачем аркан, когда семнадцать исполнится?

– Зачем, говоришь? А вот послушай...

Его узкие глаза вдруг широко раскрываются, и какой-то колдовской свет льется из них. Сначала он разлился по его широкому лицу, потом пробежал по аркану, и мне показалось, что не желтый лыковый аркан кольцами лежит на траве, а золотой луч лентой льется из глаз этого совсем не красивого человека. Хочется дотянуться, потрогать, но боюсь, что прикоснусь – и волшебный свет погаснет.

– Вот послушай!.. – повторяет Черный Юмагул. Голос его теперь совсем не писклявый, как давеча, все крепнет, поднимаясь из груди, можно подумать, что он песню поет...

Вот сейчас мне раскроется тайна, какая глазу людскому не казалась, слуха людского не касалась. Я жду.

Он прислушивается. Но из дома, кроме тишины, ничего не слышно. Хабибулла знака еще не подал.

– Видишь, вон горизонт, – Черный Юмагул подбородком показывает вдаль, – а за этим горизонтом стоит высокая-высокая гора, Урал называется. На самой вершине той горы растет черный дремучий лес, а в том лесу – круглая поляна, а на той поляне круглое озеро. Озеро это в семьдесят обхватов, а дна и вовсе нет. И в озере том ни рыбы, ни какой другой живности – один только золотогривый, с серебряными копытами конь Акбузат. Конь этот ветром веет, птицей взмывает, ожидаемое тобой приблизит, прошлое твое вернет, задуманное исполнит, с человеком по-человечьи говорит, с богом тайны делит – вот какой это конь. В самую короткую ночь, в час, когда зацветет орешник, когда с липы начинает капать мед и травы наливаются соком, разрезав озерную гладь, полоща гривой, появляется Акбузат. И, откуда рассвет не забрезжит, никого не боясь, не остерегаясь, будет конь траву на поляне щипать. Изловчишься накинуть ему на шею аркан семьдесят обхватов длиной, твоим будет конь. Такое дело под силу только джигиту, который днем звезды видит, ночью на зверя пойдет. За день – на месяц, за месяц – на год, вот как будет мой сын расти. И вот исполнится ему семнадцать, перекинет он через плечо аркан в семьдесят обхватов и пойдет за счастливым крылатым конем. Милостью бога сбудется это...

Я сiju и тихонько завидую про себя. Неплохо пошли дела у этого Хабибуллы! Сам еще не вылупил, а в дремучем лесу на

берегу круглого озера уже пасется, пощипывая траву, Акбузат, его поджидает, и даже аркан на коня сплетен. Вон он, золотом блестит в лучах закатного солнца, ровно через семнадцать лет захлестнется вокруг шеи волшебного коня. И Хабибулла, который скоро родится, вдруг предстает передо мной золотоволосым могучим богатырем с серебряными ногтями. Вот кого мы тут дождаемся!

Закончив на этом рассказ, Черный Юмагул вроде бы приуныл. Посмотрел с надеждой в сторону дома и снова принялся за аркан.

Начали опускаться сумерки. Как застывает водная гладь, застыла тихая синева. Я в мыслях опять унесся к тому озеру. Не этот еще не родившийся Хабибулла, а я сам сижу на берегу с арканом в руках. Сейчас покажется из воды красивая голова коня. Да вот он, уже проступил, вынырнул и, разметав гриву, громко-громко заржал!

– Родился! – Черный Юмагул даже присел немножко. – Родился! Мой сын родился!

Он прынул было к дому, но резко остановился и повернул обратно. Подбежал к клетки и с жаром принялся плести. Даже глаз за руками не поспекает. Покуда повитуха с суюнче – радостной вестью – не придет, ему положено терпеливо ждать. Но, видно, очень уж невтерпеж. Вот дурень.

Я, свесив ноги, спокойно сижу на чурбане. Что пользы в пустой суетне? Придут, скажут. Коли родился, ясное дело, обратно не уйдет. Но почему все же не идет Старшая Мать? Во мне тоже шевельнулась тревога. Испуганные глаза Юмагула снова выплыли из-под век. Он бросил работу. Вздохнул. И красивая поляна, и озеро на той поляне, и конь на берегу реки уже где-то в сумерках утонули. Извивающаяся по траве золотая лента опять стала убогим лыковым арканом. Я боюсь даже взглянуть в сторону дома: сейчас откроется дверь, и оттуда выглянет черная страшная беда. Нет, конечно, этого не случится, ведь там моя Старшая Мать.

Крик, еще сильнее, еще звонче первого, вырвался на улицу. Черный Юмагул вздрогнул. Нет, не для того народился этот голос, чтобы так скоро замолкнуть.

Пройдет время, ясным утром я буду лежать под дубом, разнесется по полю чей-то предсмертный прощальный крик, и

вслед за ним снова оживет в моей памяти крик, вот этот самый, и ударит в сердце.

<...> Ну, ребенок родился, думаете вы, делу конец, заберут эти двое барашка-суюнче и отправятся домой. Нет вот. Все почести да угощения, положенные нам, только теперь-то и начинаются. На целую неделю их хватит, а может, и больше.

Вот как это бывает.

В дом, где родился младенец, – бедный ли дом, богатый, – со следующего утра сватьяшки да тетушки, кумушки-соседушки начинают стекаться с яствами. Только бэлеш опустился на стол, а в сенях уже скворчат и пофыркивают блины на горячей сковородке, по крыльцу восходит лунная россыпь медового чак-чака, а по двору важно плывет на блюде, блестя каплями солнечного жира, фаршированная курица, вот ее нагоняют с катламой, а там уж в ворота входят с баурсаком, и мимо окна пронесли кыстыбый, и уже с Верхнего конца спускаются еще с чем-то... а там... Кто чем может (а ныне и того больше, у себя нет – у соседки займут) вот какими яствами у нас младенцу кланяются.

Самовар с утра до вечера со стола не сходит. На самом почетном месте, на пуховой подушке сидит повивальная бабушка, рядом с ней кто вы думаете? – я. Целую неделю так сидим и даже больше. Отменная, надо признать, жизнь, но есть один изъян. Баня. Каждый день в честь малыша баню топят. А Старшая Мать дня божьего не пропустит, уже когда все вымоются, меня ведет, мылом моет, веником хлещет. Говорит, скорей вырастешь. Трудно, конечно, но терплю. Зато на одну напасть – сто удовольствий. После бани мы опять усаживаемся во главе стола, в поту и радости с медом-сахаром чай пьем.

Завтра я у Черного Юмагула самым важным гостем буду, на самое почетное место сяду. А пока – дали мне ковшик молока, ломоть хлеба да на полу клетки спать уложили. Ничего, за одну зиму, говорят, и заячья шкурка не износится. Одну-то ночь перетерпим. А с утра – новая жизнь начнется.

И началась. Только я проснулся, как почувал, что из дома запахом кипящего масла тянет, даже в носу защипало. И только через неделю взял я веревку, обвязанную вокруг шеи белого барашка, Старшая Мать взяла за руку меня, и мы втроем отправились домой – Старшая Мать, я и барашек, подаренный Черным Юмагулом.

Маленькие дети, понятно, не все время на свет появляются, чаще идут дни порожние. Нечаянные задержки в этом деле – сплошь и рядом. В такие дни я вдоволь, досыта играю со своими сверстниками. Только ведь игра тоже приедается. И я начинаю томиться. Опять хочется слышать, как новорожденный – сам себе глашатай – криком возвещает о своем прибытии, наблюдать со стороны, что вытворяет рехнувшийся от радости отец, хочу видеть, как, недавно еще измученное и некрасивое, разглаживается и светлеет лицо женщины.

Однажды сквозь щелку в занавеске я увидел, как молодая мать в первый раз кормила ребенка. Только это красное, еще слепое существо коснулось губами соска, бледное исстрадавшееся лицо матери озарилось светом, и они оба, вместе с пуховой периной, поднялись в небо, перина стала облаком, и в том облаке в блаженстве плывут двое – мать и дитя. Почему так, когда тебе очень хорошо, ты или плывешь, или летаешь? Тут я испугался: вдруг они от моего взгляда на землю свалятся, – и, крепко зажмурившись, отошел от занавески.

На случай, если в ауле долго никто не рождается, есть у меня хорошее средство. Но прибегаю я к нему только в крайнем случае, когда уже всякому терпению иссякнуть впору.

Растет в нашем огороде куст орешника. Дерево это волшебное. Если в самую полночь, когда на краткий миг расцветет оно, успеешь сорвать цветок, если хватит духу по своей ладони острой бритвой полоснуть, если засунешь под кожу цветок – станешь невидимым, в дух бесплотный превратишься. Иди, куда хочешь, делай, что хочешь – никому тебя не удержать. Позднее, когда прибыло немного в руках силы, а в сердце смелости, сколько летних темных ночей просидел я с острой отцовской бритвой под этим орешником! Как орешник цветет, я, конечно, так и не увидел. Но и тогда, и сейчас, когда пепел годов обсыпал мои черные прежде волосы, я верил, верю и буду верить: раз в году, в глухую полночь, темный орешник покрывается яркими цветами. А без этой веры моя жизнь теряет что-то...

Пока же храбрости одному ночью в огороде сидеть у меня нет. Есть только маленький язык – выпрашивать желаемое. В самый благочестивый час, когда мой отец уходит на полуденный намаз, выхожу я в огород и становлюсь перед орешником

на колени. Это чудесное дерево, должно быть, понимает и мой язык, и божий. И потому, воздев руки, через него говорю прямо тому, который наверху. Как с ним говорить, я уже давно от Старшей Матери знаю. Главное – знай нахваливай, тут не переборщишь, он это любит.

– О создатель, – говорю я, – сила твоя и милосердие твое безмерны и безграничны. Все надежды наши в тебе, все чаяния. Пусть же святою волей твоей еще, еще и еще рождаются дети. Пусть с верою в тебя приходят на свет безгрешные души. Прими же мою мольбу! Слышишь, всевышний?

Тихо шелестят листья орешника, стало быть, молитва моя по назначению дошла и принята.

Господь бог хоть на лесть и падок, но слово свое держит, это надо признать. Два дня, ну от силы три – и в каком-нибудь конце аула появляется на свет мальчик или девочка. Но, как я уже сказал, средство это у меня крайнее. Ведь нужно всякий стыд потерять, чтобы бога по пустякам тормозить.

Вот так и шло, ладно-справно, душа – в благости, язык – в сладости. Чем не жизнь! Удача не только в кармане камзола Старшей Матери, в моем вроде тоже прижилась. Кое-что перепадает братишке с сестренкой, не с пустыми руками уходит при случае и мой приятель Асхат.

И надо же было – такую жизнь испортить! А все – эти мальчишки. Завидно им стало, что я, как навар в шурпе, плаваю, вот и начали дразнить: «повивальный дед» да «повивальный дед». Ну и что? Я и ухом не повел. Что поделаешь, коли правда? Меня и старшие братья в шутку так называют. Подумаешь!

Но потом пошло такое, что больно ударило по самолюбию. Сначала эти злые ребята «повивального деда» превратили в «деда-повитка». Стерпел. Мало им – «деда-повитка» укоротили просто в «повитка». Тоже стерпел. Но в один прекрасный день превратился я... в Пупка. Стыд и срам! В глазах потемнело... Я и носа на улицу высунуть не могу. Только и слышу справа и слева:

– Эй, Пупок!

– Ну, вкусны повивальные блины?.. Пуп-пок!

– Эй, Пупок, покажи пупок!

– Пупок! Пупок! Пупок!

Даже Хамитьян – Огуречная Голова, самый мирный среди нас, и тот начал зубки показывать.

Признаться, изрядно опостылели мне тогда мои друзья-товарищи, да и они ко мне порядком охладели. Один только Асхат не оставил меня.

Пошла жизнь – не то что прежде. Если и родится в ауле ребенок, я уже не так радуюсь. Реже и со Старшей Матерью хожу. Да и она не уговаривает, если я отказываюсь.

– Вот как ты взрослеешь... – говорит она и гладит меня по щеке. Всех остальных она по спине похлопывает, только меня так ласкает. Когда ее мягкая рука касается лица, я становлюсь совсем-совсем маленьким. Когда я вырасту, когда радости и муки первой любви будут сводить с ума, все будет так же: коснутся тонкие пальцы моего лица и снимут все горести, и снова я стану маленьким-маленьким...

Шло время, проходило, забывалось доброе и злое, правда и напраслина, только Пупка никто не забыл. Прозвище это на всю жизнь пристало ко мне. Многие в ауле и не знают моего настоящего имени. Да я и сам привык. Окликнет кто-то меня настоящим именем, я еще по сторонам смотрю, не другого ли кого зовут. А Пупок во всей округе, а может, и во всем мире один. Пожалуй, не так уж это и плохо. Теперь мое прозвище даже нравится мне. Но пока привыкал, сколько бед и невзгод сыпалось на мою голову, сколько горячих слез я пролил. Бессчетно. Бился я с ним до крови, себя не щадя, руками-ногами, зубами-когтями отбивался. Но чем яростней отбивался, тем крепче оно приставало ко мне.

И первый лютый бой вот такой был...

## САЙФИ КУДАШ

(1894 – 1993)

Родился в д. Кляшево Уфимской губернии (ныне Чишминский район Республики Башкортостан) в семье крестьянина-середняка. Начал писать с 1913 под влиянием Габдуллы Тукая и Мажита Гафури. Писал на башкирском, татарском, русском языке. Его произведения переведены на многие языки. Ранние юмористические стихи Сайфи Кудаша печатались в журнале «Кармак» (1916, Оренбург) и были направлены против мусульманского духовенства. В

период между революциями 1917 г. он обращается к теме национально-освободительной борьбы, затем поддерживает социалистическую революцию, в произведениях 1920-30-х гг. писал о коллективизации, повышении урожая. В 1940-х гг. его творчество посвящено борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Писал он также и для детей.

### Мои песни

О песни – судьба моя, жизнь моя, небо в лучах!  
Они согревают меня, словно угли – очаг.  
Чтоб звон их сквозь время,  
сквозь вес расстоянья проник,  
Я сделал им крылья из светлых стремлений своих.  
Чтобы вынести холод, у песен хватило бы сил,  
Я в пламени сердца горячего их закалил...  
Чтоб души мечтателей им находить на лету,  
Я дал им высоких желаний своих чистоту...  
Чтоб сонную одурь они прогоняли с очей,  
Я, глаз не смыкая, писал их в безмолвьи ночей.  
Чтоб чувства людей их негромкий напев взволновал,  
Я их при рождении в чувства свои пеленал.  
Чтоб нежность в сердцах они вновь пробуждали и вновь  
Я с радостью отдал им нежность свою и любовь...  
Останутся жить – значит, в мире оставил я след,  
А если умрут – значит, я не рождался на свет.

### САЛАВАТ ЮЛАЕВ

(1754 – 1800)

Родился в д. Текеево Шайтан-Кудеевской волости Уфимской провинции Оренбургской губернии (ныне Салаватский район Башкортостана). Он был известен в народе как поэт-импровизатор: пел в своих песнях о родных уральских просторах, о народе и его древних обычаях, о священной вере предков. Поэзия Салавата Юлаева – одно из редких проявлений дореволюционной башкирской литературы. Память о Салавате, как герое и певце-импровизаторе, сохранилась среди башкир до настоящего времени; с его именем связано несколько песен, мно-

гие из них приписываются самому Салавату. Его стихи призывали народ к борьбе с угнетателями («Битва», «Стрела», «Юноше-воину»), воспевали красоту родного края («Родная страна», «Мой Урал», «Соловей»), любовь («Зюлейха»).

### Мой Урал

Ай, Урал, ты, мой Урал,  
Великан седой, Урал!  
Головой под облака  
Поднялся ты, мой Урал!  
Моя песня о тебе,  
О любви моей к тебе.  
Вместе с полною луной  
Золотом одет Урал,  
Вместе с утренней зарей  
Серебром блестит Урал.  
По бокам твоим, Урал,  
Встали темные леса,  
А у ног твоих, Урал,  
Степь – зеленая краса.  
Белоснежные цветы  
На лугах твоих цветут,  
И цветы, и соловьи  
Чечь аллаху воздают.  
Громко славит птиц напев  
Первый ясный солнца луч,  
А закатный солнца луч  
Провожает, присмирев.  
Ай, Урал, ты мой Урал,  
Великан седой, Урал!  
Все слова я растерял,  
Как воспеть тебя, Урал?  
Заиграй же, мой курай,  
Песню, чтоб вошла в сердца,  
И Урал, и весь наш край  
Прославляя без конца!..

## КОМИ ЛИТЕРАТУРА

### КАЛЛИСТРАТ ЖАКОВ

(1866 – 1926)

Родился в с. Давпон близ Усть-Сысольска Вологодской губернии (ныне пригород Сыктывкара). Он писал на русском языке. Первые произведения – стихи, очерки, рассказы были опубликованы в Петербурге (издательство «Парма») в начале XX в. Наиболее значительными литературными произведениями К. Жакова являются автобиографическая философская повесть «Сквозь строй жизни» (1914) и эпическая поэма об истории средневековых коми «Биармия» (1916). Умер К.Ф. Жаков в Риге, был похоронен на Покровском кладбище, в 1990 г. его перезахоронили в Сыктывкаре.

#### Комиморт

Лес мой древний, лес священный,  
Дай мне песен величавых!  
Покажи мне все тропинки,  
Их узоры меж деревьев,  
Их изгибы меж у подошвы  
Старых сосен, стройных елей!  
Ты раскрой мне все богатства:  
Родников, ключей истоки  
И начала рек великих  
В пармах тёмных, беспросветных,  
Очертанья скал гранитных,  
И столпов порфировидных!  
Научи ты заклинаньям,  
Силе чар могучих тунов!  
Покажи ты птичьи гнёзда  
На вершинах острых елей,  
Гордых сосен над холмами!  
Милый, милый лес священный!  
Кто познал немые тайны –  
Долго будет жить на свете!

## ИВАН КУРАТОВ

(1839 – 1875)

Выдающийся поэт и демократ – одно из самых значительных явлений дореволюционной коми культуры. Разночинец-демократ, он прошел трудный путь к высотам мировой культуры. Произведения И.А. Куратова – национальная гордость коми народа, одна из вершин его духовного развития. В них нашла отражение жизнь коми народа в 60-е гг. прошлого столетия, страстное стремление к свободе от угнетения и произвола, вера в светлое будущее. Владевший несколькими иностранными языками, И.А. Куратов в совершенстве знал мировую классику.

### Моя муза

Музу я свою  
Не продаю!  
На базар стихи не посылаем,  
Покупателей своих не знаем...  
С музою вдвоём  
Тайно мы поём;  
Если меж собою фальшь мы скажем,  
Кто другой на эту фальшь укажет?  
Посмеёмся мы над нею сами,  
И тетрадью синей  
Мы поярче пламя  
Разожжём в камине...  
Скоро мы и пред людьми посмеем  
Руку испытать на большей теме,  
И в поэме  
Показать смелее  
Длиннополого ханжу сумеем, –  
Паразита, кто людей покрепче,  
Жадного до крови человеческой, –  
И народ, в нужде кто тает,  
Весь свой век кто мёрзнет, голодает,  
И в загробной жизни счастья ожидает..  
Музу я свою,  
Нет, не продаю!

*Перевод А. Размыслова*

## АЛЕКСАНДРА МИШАРИНА

(1946)

Родилась в с. Большелуг Корткеросского района Республики Коми. В 1968 г. окончила педагогическое училище в Сыктывкаре. В течении 6 лет работала в родном селе учительницей. В 1970-1972 гг. училась в литературном институте им. М. Горького в Москве, затем в Сыктывкарском госуниверситете. Работала сотрудником журнала «Войвыв кодзув», в котором в 1966 г. опубликовала свои первые стихи. В 1977 г. вышел первый сборник стихотворений «Три песни», затем вышли книги «Северный цветок» (1980), «Земля моя коми» (1981), «Растем на севере» (1987), «Вечерние песни» (1991), «Боль сердца» (1996). В своих стихотворениях поэт говорит о любви как о даре радоваться и страдать, изображает лирические миниатюры и пейзажи. Ее стихотворения переведены на многие языки.

**Стать бы мне рябиною...**

Стать бы мне рябиною  
тонкую, лесною.  
И тебя бы радовать  
каждую весною.  
Или красным солнышком  
белыми ночами  
целовать бы сонного  
нежными лучами.  
Выйду ясным месяцем.  
Так тебе светлее?  
Раз тебе не весело,  
тоже погрустнею.  
Ветерком в дороженьку  
соберусь. И тоже  
брошусь тебе в ноженьки.  
Волосы взьерошу.  
С песней соловьиною  
о тебе тоскую.  
Да зовешь любимую  
женщину другую.

*Перевод Н. Мирошниченко*

## НИКОЛАЙ ПОПОВ

(1901 – 1971)

Родился в г. Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар). Участник гражданской войны. В 1937 г. Н. Попов был репрессирован. После смерти И.В. Сталина был освобожден. Дело по его необоснованному обвинению было прекращено 24 августа 1955 г. Первые произведения Н. Попова пьесы «Коді мыжа?» («Кто виноват?»), «Ольштан да муса лоӧ» («Поживёшь – полюбишь») были изданы в 1924 г. Спустя четыре года была закончена пьеса «Чурка Нина» («Незаконнорожденная Нина», 1928). В 1967 за заслуги в развитии советской литературы награжден орденом Красной Звезды. Н.П. Попов – член Союза писателей СССР с 1934 г.

### Баллада о пяти кусках хлеба

Дом без отца  
вдруг стал просторным слишком...  
Мы к матери все жались  
в дни войны –  
четыре одинаковых парнишки:  
оборваны,  
лохматы,  
голодны...  
Придёт с работы мама  
и с собою  
несёт краюшку хлеба.  
В тот же час  
на пять кусочков  
точной рукою  
разрежет хлеб  
и всех оделит нас.  
И, на скамейку падая устало,  
поест сама...  
Нам было невдомёк,  
что если даже детям не хватало, как для неё  
был скуден тот паёк!  
И вот случилось,  
что тот ломтик мамин  
однажды вдруг исчез  
с конца стола.

Испуганно  
встречались мы глазами.  
понять не в силах:  
чья рука взяла?  
Нельзя же проглотить  
и не заметить?  
«Случайно» съесть его никто не мог...  
Кто должен  
за свершенное ответить?  
Кто нашим четным братством  
пренебрег?  
Ищи, как говорится,  
ветра в поле...  
Мать принялась прикидывать опять  
как снова сделать равными  
все доли,  
чтоб вместо четырёх –  
их стало пять...  
Она не показала, как ей больно,  
шептала: «Ешьте...»  
(Ведь родная плоть!)  
И только слёзы  
падали невольно  
на непривычно маленький ломоть.  
Не потому  
что нынче голодать ей,  
а потому,  
что в тот тяжёлый час –  
вчера ещё доверчивые –  
братья  
познали недоверье  
в первый раз!  
...С годами  
даже больше мы сдружились,  
стремясь друг друга  
подпереть плечом,  
мальчишескими тайнами делились,  
не скрытничая никогда ни в чём.

Никто не стал  
ни жадным, ни упрямым  
Но тот,  
кто мамин утащил кусок,  
как в преступленье страшном,  
худшем самом –  
так никогда  
признаться и не смог!

*Перевод И. Михайлова*

## **ВЛАДИМИР ТИМИН**

(1937)

Родился в с. Пажга Сыктывдинского района Коми Республики. Закончил Коми государственный пединститут. Работал в отделе языка литературы и истории коми филиала АН СССР в секторе фольклора. В последующие годы работал директором дома радио, директором школы, главным редактором коми телевидения и Госкомиздата республики, главным редактором республиканского литературного журнала. Начал писать в годы учебы в речном техникуме. Опубликованы 6 сборников стихотворений и 3 прозаических произведений. Произведения переведены на русский и эстонский языки. Член союза писателей России, Заслуженный деятель культуры России.

### **Родной язык**

Златокрылая,  
Звонкая радость,  
Родной язык – моя жизнь и сон.  
Можно разговаривать  
На любом языке.  
Только от своего языка отчуждаться  
Не буду.  
Северных просторов  
Вольная птица.  
Дала силу языку  
Коми земля.  
Ну, а чистоту дала,

Конечно же,  
Ему Вычегда матушка-река.  
Он ваш,  
Наши дедушки-бабушки,  
Он ваш,  
Девушки и парни,  
Мысль на своем языке  
Вдвое точнее.  
Человек с родным языком  
Вдвое сильнее.

*Подстрочный перевод автора*

## **ИВАН ТОРОПОВ**

(1928 – 2011)

Родился в с. Койгородок Сысольского уезда Коми автономной области (ныне Койгородский район Республики Коми). Первая книга прозы И. Торопова «Ныв локтіс пармаӧ» («Девушка пришла в парму») была издана в 1964 г. Всесоюзную известность получили повести и рассказы «мелехинского» цикла: «Пшенная каша» (1966), «Шуркин бульон» (1967), «Где ты, город?» (1967), «Скоро шестнадцать» (1971), «Вам жить дальше» (1975) и др. Его произведения переведены на русский язык, языки народов России и иностранные языки. И. Торопов – член Союза писателей СССР с 1969 г., заслуженный работник культуры Коми АССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. Горького. Награжден орденом «Знак Почета». В 1995 г. ему присвоено почетное звание «Народный писатель Республики Коми».

### **Шуркин бульон**

*Отрывок из повести*

Весной сорок четвертого померла наша мама, и стало нам совсем трудно жить. Осталось нас четверо – три брата и сестренка. Мне самому старшему шел пятнадцатый, а меньшей, сестренке, исполнилось четыре. Отца на фронт взяли в самом начале войны, и пропал он под Ленинградом. Хотели нас отдать в детдом. Но мы три брата уперлись: не пойдем. Сестренку при-

дется отдать. Дом наш был большой, с двумя половинами: летней и зимней, сзади. Без мамы пришлось самим держать все хозяйство – дрова рубить, воду таскать, печку топить. Каждую субботу прибирались, ножами скребли некрашенные полы. Потом научились мы и белье стирать, хотя нудная эта работа и во все не мужская. И всякой другой домашней работы по горло хватало. Зато и было нам в радость, когда соседские бабы хвалили нас: эва, какие молодцы, все сами. Мать, бывало, чего-нибудь да сготовит: бурду какую сварит. По правде-то, харчи нам не очень перепадали. Как мама померла, я конечно, из школы ушел и начал работать в колхозе. Своей картохи нам до весны не хватало, и как только с полей сошел снег, стали мы кормиться перезимовавшей, с полей. Идешь по жидкому полю, земля тебя засасывает, будто болото. Комок – картошину найдешь, и сердце вздрогнет, будто самородок нашел. Да не часто они попадались, картофельные самородки...

Соберем мы эти серенькие комочки, сколько попадет, обчистим, разбавим водой, посолим и – лепим. Лепешки шлепаем прямо на плиту и ждем – переминаемся, когда они зарумянятся... Нажремся без меры – и сидим, до того сытые, аж худо. Раза два поели так, а на третий младшему нашему, Шурке, стало совсем плохо. Было Шурке всего одиннадцать. Его в деревне Ангелочком звали.

И вот начало Ангелочка тошнить. К вечеру бросило в жар, дышит тяжело, глядит тоскливо, а глаза такие больные-больные.

Сбегал я к тетке молока попросить. Они с соседом пополам держали корову. Дали мне. Потом побег в леспромхоз, в ихнюю пекарню, – может хлеба свежего дадут. Дали. Бегу обратно. А Шурка уже не ест. Головой качнул и не берет. Совсем, значит, худо нашему Шурке. Побег я тогда за фельдшером. Тот пришел дал Ангелочку таблетки. И таблетки не помогли, так и горит Шурка, так и мечется.

Соседки-бабы заругали меня, ты, мол виноватый, из-за тебя мальчишки в детдом не пошли.

Тяжело, оказывается, быть старшим. Старший брат – это все равно что отец. Тем более и матери нет.

Гляжу – идет к нам в дом Пока Митит, крихтит дед...

Отдышался дед, потом Шурку начал щупать. Живот пощупал, ребра, спину, на язык поглядел, будто фельдшер. Ему бы,

говорит, бульону из лесной дичины. Мой Гришка, говорит, когда грибами объелся, так и я его, говорит, на ноги поставил глухариным бульоном и морсом из клюквы. Не дал помереть Гришке маленькому, теперь его большого Гитлер уколошил. Ты, Федор, говорит, бери ружьишко да и сбегай в лес, может, подстрелишь кого. А дойдешь до Сергей-бани, можешь и глухаря поднять.

Жалко мне Шурку, а от стариковых слов тоже не по себе: ведь к Сергей-бане идти, не миновать ночевки в лесу. До тех мест верст десять будет или больше.

— Я сбегаяю, а вы уж за Шуркой присмотрите тут. Было у нас старое ружье. Я зарядил десять патронов, кто знает, вдруг медведя встречу...

Снег в лесу уже подтаял остался кое-где в распадках. Солнце в лесу, и лес стоит чистый. И тихо.

Иду шагаю, глаза сами по сторонам зыркают. Боялся я медведя, он недавно вышел из берлоги отошал за зиму, голодный... В один бы ствол воткнул пулю и шагай себе, — кого бояться! Идешь старые места вспоминаешь. Мать бывало скажет: потерпи сынок, ляг да полежи на мху.

Никто уж теперь не скажет так. Померла мать в тридцать да шесть лет. Как война началась, она небось ни разу до сыта и не ела... А потом эта страшная болезнь: у мамы шея пухла. А мама все работала, а работа тяжелая, не бабья работа, мужская.

Ей бы, матери, в тепле посидеть, подлечиться бы. А председательша у нас была Анна Ош...

Вошла Анна Ош: ты, говорит, почему не на поле, Марья? Иди, говорит, запрягай! Иди, говорит, марш-марш, — уже и не говорит, а покрикивает.

— Да ведь я болею, Анна, — говорит мать.

— Кончай ныть! — приказывает ей Анна Ош. — Слушать вас всех давно бы колхоз развалили...

Я сижу у горячей железной печки, отглаживаю стеклышком топорище, как заору:

— Пошли отсюда вы все! — ору и топорище в руке держу. Анна Ош даже попятилась. Говорит своему завобозом:

— Видал, Михайло? Видал, как оборванцев своих насулькала.

— Пойдем отсюда, Анна Моисеевна! Пойдем от греха.

И ушли они. Сестренка сразу и плакать перестала. Я гляжу в окно, там Красивый стоит, кормленный старый жеребец. Я смотрю и от чего-то мне противно. Я даже в сердцах плююсь.

– Чего ты сегодня сынок? – тревожится мать.

Я вижу, она вроде и довольна, мол, заступники.

Тут из-под ног у меня выпорхнула пара рябков. Я даже подпрыгнул, до того они напугали. Потом думаю – может, я их добуду? Тогда бы я сразу обратно домой пошел. Шурке бульон бы сварил, он бы поправился.

Гонялся я за рябками долго. Я им еще посвистал, но я плохо умею, их не обманешь. Дошел я до узкой тропы. Тропка эта и ведет к Сергей-бане. Я иду, гляжу кругом, а сердце ноет, ноет... Скоро уж и на месте буду. Вон там под густыми елками крутой берег, там Сергей-ручей.

Эх, была бы осень... То-то здесь еды пропадает.

Я спустился к ручью, напился. Потом я вышел на середину лужайки, выбрал место посуше и лег. Все равно до вечера зайцы не выйдут. Лег я и заснул, даже не заметил как. Открыл глаза – солнце уже низко. Десять шагов от меня – ходит глухарь огромный. Брови красные длинная толстая шея и пышный хвост распушен венником.

Помню, ружье мое заряжено, рядом лежит. А как его взять? Глухарь чуть его заметит, и был таков, ищи ветра. Прижимаю ружьишко к боку и тихонько поворачиваюсь, чтоб оказаться головой к птице. И не дышу. И не терпится скорей ружье поднять, скорей выпалить, пока не улетел. Сунул я ружье вперед, а глухарь уже уходит.

Грохнул я, в плечо толкнуло. Глухаря будто подкинуло, поднялся он свечкой – и к болоту. Перья остались, а мясо улетело. Рванул бегом через ручей, вошел в болото, а оно до краев залито талой водой и пришлось – таки бросить, уйти ни с чем. Солнце уже клонилось на покой.

К баньке натаскал сухих валежин, потом осторожно пошел к лужайке. Подкрадываюсь и вижу, в прямом просвете тропинки пасется заяц.

Был бы хороший заряд я бы свистанул бы из далека. Пальнул – заяц заорал таким жутким криком, я от испуга подумал: не медведи ли, случаем, попал? Заяц раза два перекувырнулся на месте, я к нему. А он как сиганет к ельнику. Был, и нет.

Уж на ощупь почти пробрался обратно к баньке. Развёл костёр. Смотрю на огонь и вижу Шурку своего, глаза такие боль-

ные-больные, прям ужас. Шурка думает небось, что Федька зря не сходит, Федька уж подстрелил кого... Есть всё-таки захотелось: испёк я картошку, запил водой из ручья.

Ещё стемнело. Лес гудел глубоко, надрывно. А уж темень, хоть глаз коли. Зарядил я ружьё пулей, положил рядом. Не сплю, сижу, слушаю. «Боб-боб-боб!»

Это заяц. Может, тот, что от меня драпанул. Остался живой и посмеивается. Больно уж охотник изменяя худой. Схватил я ружьё, вскочил – и к банке. Стою не дышу, только вижу, только слышу. Не дышу.

Сколько жути в лесу ночью. Вздел в руку ремень от ружья, свернулся калачиком и лёг. Костёр мне лицо согрел, грудь, я послушал маленько, как тёмный лес шумит, и уснул.

Согрелся я, весь согрелся.

И стало мне удивительно хорошо и спокойно. Радостно стало, от того что я живой, что один заночевал в лесу, и нечего, обошлось. Вот, думаю, до чего же здорово, что родился на этой земле.

Взял я ружьё, сунул в ствол дробовой патрон – и пошёл. Иду по тропинке и слышу какой то скрип. Как же это дерево скрипит, если ветер ещё не проснулся? Встал слушаю. Ой, думаю, не глухарь ли это?

Гляжу по сторонам, верхушки деревьев всматриваюсь и медленно иду на зов. И вдруг – вижу, он. На сосне. Стою, гляжу, понять не могу не уж ли глухарь.

Обдало меня всего жаром. Радостью и азартом. Я-то леса боялся, а он добрый ко мне, лес, он мне сколько дичины подсовывает – и глухаря, и рябков, и зайца, только бы я к Шурке не вернулся с пустыми руками.

Глухарь трещит короткими, не очень звонкими куплетами. Подкрался, почти рядом стою. Я его вижу, а он меня нет.

Выцелил его. Выстрелил в бок. Он круто и наискось мелькнул за деревьями и шмякнулся оземь. Рванулся я к нему отчаянно, схватил за толстую шею и обеими руками поднял над землёй.

Затих глухарь, а я его всё держу, боюсь отпустить. Такая птица была большая. Теперь это уже бульон для Шурки.

И счастлив я был и ног не чуял.

Там ведь Шурка ждёт, большой весь, и Митя небось ждёт не дожждётся. Глухаря всем хватит.

Иду – и чувствую себя старшим братом.

## ВЕНИАМИН ЧИСТАЛЕВ

(1890 – 1939)

Родился в с. Помоздино Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне Усть-Куломский район Республики Коми). Первые литературные опыты относятся к 1908 г. В 1920-1930-е гг. создал свои лучшие лирические стихотворения «Весенняя», «Рождение поэзии», «Мои слова», написал поэмы «У мавзолея Ленина», «Время обновления земли» и пьесу «Выдание невесты». Перу писателя принадлежат переводы на коми язык произведений русской и мировой литературы. В 1929 г. В. Чисталев написал рассказ «Трипан Вась». С появлением этого рассказа писатель вошел в коми литературу как основоположник психологической прозы. Член Союза писателей СССР с 1934 г. В 1937 г. В. Чисталев был необоснованно репрессирован, погиб в сыктывкарской тюрьме. Реабилитирован в 1956 г. Место захоронения неизвестно.

### Трипан Вась

*Рассказ*

Рано в этот год пришла на Север весна, будто знала – наголодались люди, ждут не дождутся первой зелени. Зима была трудной. Такой трудной, что и щавелю обрадовались люди. Голодная скотина – мало её осталось в деревнях, всю побили за зиму – разбрелась по лугам, отыскивая редкие пучки молодой травы. Легче вздохнули зыряне\*. Теперь авось перебьёмся. И впрямь перебились. Не успели оглянуться – уж и сев подошёл.

Василий Трифионович, а по-нашему, по-коми, – Трипан Вась, вышел на своё невеликое поле, обошёл кругом, не пропуская ни одной засеянной полосы.

«Ах, ячмень, длинноусый ячмень! Часто же ты обманываешь хлебороба... То с верхком колос, а то до небес... Мал – не уродил, велик – того гляди, переломисься, собирай тогда тебя по зёрнышку. Через каждый год, почитай, обмерзаешь, не успеваешь дозреть. Иную весну сколь навозу изведёшь под тебя и торфу добавишь, чтоб силушки дать. Земля – хоть в кашу её, до того жирна, а ты... Капризник ты, и ничего больше! Эвон рожь –

---

\* зыряне – так называли в царской России людей коми.

та ничего не просит. Знай родит... Коль не помру к той весне, всю землю под рожь – та ничего не просит. Знай родит... Коль не помру к той весне, всю землю под рожь пушу, под кормилицу. Знамо, не подведёт. Не...» – так размышлял Трипан Вась, растирая меж пальцев сухой ком земли.

Никто ещё не брался за косы да грабли, а Трипан Вась уже собрался идти вверх по Вычегде – ставить сено.

– Поеду! – сказал домашним. – Пока ещё вблизи не ставят сено, я, глядишь, хоть несколько возов там уберу.

Сам же задумал ещё и другое. Несколько месяцев хранил Трипан Вась втайне от своих полпуда семенной ржи. Теперь пришло время сева. Хотя в Коми селяне давно перешли на трёхполку, у многих в парме оставались и подсечные участки. В эту весну, правда, подсеки стояли нерасчищенные: на поля семян не хватало – все зерно на зиму на хлеб ушло, даже семенное. Разве в голод утерпишь? А Трипан Вась утерпел.

– Вы пока веники режьте, а я тем временем обернусь, – сказал он жене.

– Плыви, коли можешь... Я не держу. В дорогу вот нечего дать. Чем прокормишься? В доме даже на приварок нет ничего – ни крупы, ни муки.

– Приварок в воде, – молвил Вась. – Положь, что есть. Чего нет – не прошу.

Уложила жена в пестерь кач-няней\*, налила в туесок молока – вот и всё. Взял Вась котелок для воды, косу, точило, топор. Попросил у жены еще и полведерный туес.

– На что тебе он?

– А рыбу класть... Гостинец вроде. Нельзя домой без гостинца, – как бы оправдывался Вась.

Вот и все сборы. Простился с женой, дочку поцеловал и прямиком – к лодке. Проскрежетала она по камням, плюхнулась в реку весло... Только его и видели.

Плывет Трипан Вась по реке, вокруг – тишина. Не мелькают по берегам косы, не видно скошенной травы. А уж про зореды и говорить нечего – ни одного.

---

\* пестерь – дорожная корзинка из бересты, носится на спине, непромокаема, легка и удобна; кач-нянь – ляпёшка из пихтовой коры. В голодные годы заменяла хлеб. Нередко от такого «хлеба» умирали, особенно дети.

Лишь раз окликнули Вася:

– Куда собрался? Никак сено ставить в такую рань?

Но у него ответ был загодя приготовлен:

– По бересту иду, недалече...

Лишь три чомкоста Вась миновал, а солнце уже в воду мокнулось. Пришлось на четвертом остановиться. Вытащил Вась на берег лодку, поднялся к избушке, но заходить в нее не стал. Летом коми в избушке ни за что ночевать не будет – заедят клопы. Зимой – другое дело. Иногда в такую избушку понабьется проезжих – до двадцати человек. Хоть и клопы там, и теснота, а все лучше, чем на морозе. Руки, ноги отогреются – и то хорошо. А летом заночевать в лесу – одно удовольствие.

Трипан Вась развёл костёр, чтобы комары не донимали, нарубил ивовых прутьев, натянул полог. Теперь покусывают – вот и ужин, в дыму лицо прячет – комары и у костра вьются, но в дым не лезут. Если и укусит какой – не обижается Вась: знает, без комаров тепла не будет, а нет тепла – не быть и урожаю. Много оводу и комаров к – к богатой жатве – говорит примета.

– Ку-ку! Ку-ку! – подала голос над его головой кукушка. Вспомнил Трипан Вась другую примету – если кукушка долго кукует – хороший год, лето будет длинное, хлеба успеют созреть. Считал, считал Вась – сбился. А кукушка не умолкает. «Не, – думал он, – в эту зиму, бог даст, обойдёмся без качняней. И то – чуть ноги не протянули от проклятых лепёшек. Вот я – не старый, поди, а слаб стал. Куда только силушка подевалась? На три чомкоста за день еле поднялся. Пока доберусь, куда надо, раза три, гляди, солнце в воду уйдёт...»

Тяжело задумался Вась, и было о чём ему думать. Уж как он работать любит – а не идёт богатство к нему. За всю жизнь не знал отдыха: расчищал подсеки, пахал, сеял, косил, рыбачил, охотился, плоты гонял... Только что не доил и не стряпал – ну да на то жена есть. Пятерых детей вырастил, надеялся – будет подмога. Какая там подмога... Старшие дочки замуж повыходили, сыновей тоже дома нет. Один в Красной Армии, другой – семнадцати лет – зимой на Печоре к белым угодил – пропал вместе с лошадьё. Только и осталась дочка младшенькая.

Детей своих Вась воспитывал ласкою, не кричал на них. «Пусть себе погуляют да поиграют, пока молодые». Но к труду

приучал с ранних пор. Лениности не любил Трипан Вась. «Если уж делать, то хорошо», – учил детей. Заведут, бывало, мужики разговоры про Советскую власть – как жить тогда будут, а Вась только скажет «Молодость небось устроит для себя, как им надо... Зачем мешать? Наша жизнь уже прожита».

Сыновьям Вась дозволил самим выбирать дорогу: к старому не тянул, от нового не отговаривал. Сам-то он не больно в поповского бога верил. Был у него свой «бог» – работа. «Без нее сыт не будешь», – говаривал часто. Только и работая голодал...

Два дня поднимался Вась по реке. На третье утро добрался, наконец, до своей пожни. Ничего тут не изменилось за зиму. Лишь могучая ель в два обхвата, что стояла на берегу, свалилась в воду. Подмыла река во время половодья корни... Раскинулась ель во всю реку. Бурлит через нее вода, как в запруде.

«Хорошее место для рыбы устроилось!» – решил Вась. Но грустно было на ель смотреть. Смолоду он любовался красавицей елью, не думал, что придется пережить ее. «Так вот и человек – живет, суетится, хлеб добывает, детей растит, а не знает, что смерть уже рядом. В одночасье помрет, что после него останется? Ель хоть запруду устроила, чтобы я, Трипан Вась, рыбки мог наудить. Пока жив бедняк – мало толку, а не станет его – ничего не изменится. Разве что родные когда вспомянут...»

Причалил он возле умирающей ели, – та еще держалась корнями за землю, зеленела – разгрузился. Не мешкая, отбил косу, вышел на пожню.

Не широки и не гладки пожни в верховьях наших рек. Даже пожнями-то нельзя их назвать. Скорее, расчистками. Пойма узка. И с той, и с другой стороны реки-горы. Как по желобу, течет меж ними вода. Иногда чуть отойдет гора в сторону, словно интересно ей – что вода будет делать? Река весной разливается – вот и луг будет, как спадет половодье. Но гора, будто рассердившись на себя за доброту, тотчас снова загоняет реку в русло. И опять на чомкост, на дне негде косить.

Однако и по склонам гор научились люди ставить сено. Небольшие расчистки пестро зеленеют, пока не придут косцы. Через неделю на расчистках появляются копны. Одна, реже – две, а зорэды в два-три воза очень редки. Зато сено с пойменных лугов отменное, да и доставка без хлопот. Меняют мужики косы

на пилы, топоры – валят лес. Соберут плот, нагрузят сеном. И дрова зимой будут, и корм животине.

Пожня Трипан Вася с трех сторон окружена лесом. Солнечным лучам не пробраться сквозь густые кроны. Скошенную траву сушит лишь ветер... «Придется несколько дней обождать», – огорченно думает Вася. Он, конечно, не первый год сюда ходит за сеном. Знает, что к чему, но каждый раз огорчается сызнова. Так, по привычке. Спешить-то ведь ему некуда, рожь еще надо посеять. На это день-два уйдет. Но такой уж характер у него – не любит Вася <sup>\*</sup>ждать, без дела сидеть.

До паужина <sup>\*</sup>косил Вася. Под вечер у ели посидел с лесой, наудил на уху пяток окуней. Скоро от котелка пошел рыбий дух. «Ох, сюда бы ложку крупы да щепотку соли!» Поглядел Вася на тус с семенами. «Не, – решил, – грешно трогать. Последняя надежда эта рожь...» Сидит у костра, хлебает ущицу, пихтовой лепешкой закусывает. Вот и ужин.

А потом долго сидел Вася у тусса, пропуская сквозь пальцы семена. Золотом струилась рожь – теплая, сухая. Закрыв он тусс поплотнее, поставил в изголовье под полог. Со спокойной душой отошел Вася ко сну. Снились ему широкие нивы, каких никогда не видел он в жизни.

На другой день пошел Вася искать место для посева. Пальник нужен был ему – сухой лес. Сначала добрался до старой подсеки, которую расчищал он несколько лет назад. Три лета собирал здесь урожай, теперь земля истощилась, надо ей дать отдохнуть. «Эх, кабы теперь это распахать да на год оставить под пар!.. Но где уж сюда с сохой добраться, слишком далеко от дома».

Покачал головой Вася, двинулся дальше. Около версты прошел, наткнулся на пальник. «И выжигать сухостой не придется, недавно пожар был... Недели две всего», – обрадовался он. Росла тут раньше лиственница вперемешку с елью. Густым мохом заросла земля. Вспомнил Вася, что сплавлял отсюда лиственницу-сортовку. Толстые пни в два обхвата оставил после себя да много сучьев. Поэтому, когда случился пожар, обгорело все дочиста.

---

\* паужина – ужина

Обошел Вась пальник, искал, где толще слой пепла. Видит – ступня вся проваливается по лодыжку. «Хорошо!» Остановился, глянул во все стороны. «Ох-хо, побольше бы семян сюда, был бы с хлебом, – вздохнул Вась. – Что мой туес семян? И четверти пальника не засею...»

Начал он расчищать пальник. Дорогой ценой достались ему семена, вот и решил Вась убрать все до веточки, до головешки. Чтоб ничто не мешало подняться хлебу... Жарко в работе, оводы, комары кусают. Пыль дышать не дает. Ничего не замечает Вась. Пот по лицу грязным ручейком бежит, стекает каплями на землю. Отдохнет немножко Вась – и опять за работу. Каждый раз, когда наклоняется, желтые звезды перед глазами летят, голова идет кругом – того гляди, упадет. Уж совсем стемнело, когда Вась спустился на пожню. Не до еды было – свалился под полог, заснул. Так устал, что и снов никаких не видал.

Наутро при росе сначала покосил на пожне, потом опять поднялся к пальнику. Попробовал нагнуться – упал. «Больше, видно, не могу расчищать. Уж и довольно для моих семян». Лапой густохвойной ели смешал пепел с землей. «Теперь можно сеять».

Трипан Вась нацепил на пояс туес с семенами, пошел по расчищенной «пашне». Сеет – рукой плавно ведет, неторопливо, зерна сквозь пальцы пропускает, чтобы не кучей упали, а порознь. Идет, бормочет под нос – молится: «Расти-выращивай, мать-земля! Светлое солнышко, пригрей-пригляди!..»

После посева снова перемешал землю – забороновал вроде.

Еле добрался до полога. Солнце давно скрылось. Выпала обильная роса. «Эк, я сегодня, – подумал Вась, – от росы до росы спину гнул».

Ожили кукушки. Утолили росой жажду после жаркого дня, теперь перекликаются – самки с самцами. Где-то в траве близко от Вася закрикала утка, вызывая своих утят из лесу. «Хватит сидеть в потайных местах! Выходите к речке – буду учить вас плавать», – понял он утиный разговор. «Сейчас! Сейчас!» – тоненькими голосами откликнулись малыши.

Отдыхает Вась... Хоть устал сильно, и во всем теле ломота, и под ложечкой сосет от голода, но на сердце легко. Что хотел – сделал! Зерно не на муку пошло, а снова к жизни вернулось. Теперь оплатит сторицей за все мучения!

Вась опять нашел себе занятие – стал выделывать из бересты при свете костра туесы и чуманы – красивые, как игрушки, серебряные сверху, золотые внутри посудыны. Хоть молоко в них держи, хоть соль, хоть зерно. «Туес всегда пригоден, – говорят коми, – что дома, что в дороге – лучше посуды не найти! Не гниет, не ржавеет, нет ему износу!»

Долго не мог уснуть этой ночью Вась. Лежит под пологом, а мысли далеко разлетелись. Сыновья вспомнились.

«Где-то, сердечные? Живы ли? Увижу ли вас когда-нибудь?»

Болит за них сердце. Днем дела думы гонят, лишь кое-когда мелькнут перед глазами дорогие лица, а ночью... «Для вас ломаюсь. Чтоб вам лучше жилось. Посадил рожь сегодня, вернетесь – будет чем накормить. Не пихтовой же лепешкой угощать».

Замолкли птицы. Затихло все. Только высоко в бору заливается лесной житель – клест, да, не утихая, журчит вода на быстрине возле ели.

Лишь к восходу солнца забылся, заснул ненадолго Вась.

Два дня еще пробыл он на пожне – собирал сено в небольшой зорэд, заготовил в березовой роще бересты для туесов, надрал в парме пихтовой коры – будет из чего печь качняни... Будь они прокляты! Совсем от них ослаб Трипан Вась. Желудок как камень, ни сесть, ни лечь, ноги распухли колодами... Заторопился он домой. Наложил полную лодку груза: пихтовой коры три охапки, бересты семь свитков, несколько жердин для вил; рыбы вот только мало – на один раз сварить, не больше. Некогда было удить!

Сел он на корму, оттолкнулся от берега. «Прощай, пожня! Прощай, пальник! Ждите осенью...» Грести Вась не мог, лишь весло в воду опустил и шевелил им изредка, управляя лодкой. «Вода донесет!» Перед тем как скрыться за излучиной, оглянулся еще раз, будто хотел запомнить навсегда это место.

Вычегда свое дело знает, несет быстро. Доплыл бы Вась до своей деревни, если бы накануне пустился в путь. На полпути схватила его жестокая болезнь, а в лодке даже вытянуться, прилечь негде. «Остановлюсь. Поваляюсь на земле, авось полегчает».

Пристать-то к берегу пристал, да лодку не смог на сушу вытащить, за иву привязал. На коленях добрался до ели – хотел

дымник от комаров развести. Этого даже не смог. Катается от боли в животе. Не до комаров тут – что их укусы? «Домой... Домой бы добраться, домой!»

Не добрался до дому Трипан Вась, так и заснул навеки под елью.

Наконец-то смогли отдохнуть его усталые руки и ноги. Под елью родила его мать, расчищая подсеку; под такой же елью он и умер... Не запричитала над его головой жена, не заплакали дети. Отпевали его только гудевшие вокруг комары, да с вершины ели печально закуковала кукушка, обещая погожее долгое лето. Или, может, она пересчитывала прожитые Трипан Васем годы?

На другой день односельчане Вася поднимались по Вычегде – ставить сено в верховьях. Смотрят – качается на привязи груженная лодка. Причалили к берегу и нашли под высокой елью тело Трипан Вася. Не пришлось им гадать, отчего смерть пришла: под свитками бересты нашли три охапки пихтовой коры. – А хлеба-то – полная лодка!..

Повздыхали, покурили над ним и с миром предали тело земле.

Прошли лето и осень... Наступила зима. Небо занавесилось пеленой, укрыл землю белый саван. Потянулись горькие, черные, как смола, печальные дни. Не от голода стонал народ – весной девятнадцатого заняли верховья Вычегды белогвардейцы.

Но вернулась весна, стаял снег, а вместе с ним стаяли белые. Как прилетают с южным ветром домой перелетные птицы, так и с первыми теплыми лучами солнца вернулись сыновья Трипан Вася. Вернулись строить новую жизнь.

...В чаще леса, на небольшой поляне, меж высоких черных пней зеленеет длинностебельная рожь. Шумят кругом ели и лиственницы: Ш-ш-ш... ш-ш...

Но у самой опушки из привычного шума леса выбивается другой, более тонкий, нежный звук:

– С-с-с... с-с-с...

Кланяются под ветром колосья длиной с четверть, кланяются тому, кто отдал свои последние силы, чтобы посадить их здесь, на этом одиноком пальнике.

# МАРИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

## ЮРИЙ АРТАМОНОВ

(1938 – 2002)

Родился в деревне Ятманово (Ятман) ныне Медведевского района республики Марий Эл в крестьянской семье. Творческий дебют Ю. Артамонова состоялся в 1960 г. В газете «Марий коммуна» были напечатаны три коротких рассказа из армейской жизни. Его первая книга «Советский солдат» вышла в 1962 г. Писатель пристально всматривался в социально-экономические процессы, происходящие в марийской деревне, воспевал сельский труд, родную землю, красоту природы. Его произведения публиковались на мордовском, удмуртском, чувашском, казахском и других языках. Писатель много занимался переводами. Он лауреат премии марийского комсомола имени Олыка Ипая. Награжден Почетной грамотой Республики Марий Эл (1998). В Союзе писателей СССР состоит с 1980 г.

### Звездное озеро

*Рассказ*

Звездное небо.

Рыба перестала клевать. Мы вытащили плоскодонку на берег. Мирон Семенович разжег костер, я сходил с котелком за водой, повесил котелок над огнем.

Теперь больше делать нечего, остается только ждать.

Мирон Семенович вынул из кармана кисет, трубку, неторопливо набил ее, потом выкатил палочкой из костра красный уголек, подхватил голой рукой, прикурил.

Я лежу на спине. Хорошо. Комары и мошки, весь вечер евшие нас поедом, теперь не беспокоят, дым разогнал их.

Небо чистое, светлое. На земле уже тень, а в небе еще светло и пока не видать ни одной звездочки.

В эти краткие мгновенья перехода ото дня к ночи, от света к темноте все в природе затихает в каком-то напряженном ожидании. Умолкают птицы, и даже самый легкий ветерок не шелестит камышом.

Но эта тишина стоит недолго: как только погаснет последний луч солнца, в кустах начинает петь соловей.

Я люблю соловья. В его пенье слышатся мне голоса родной земли, наших песен, звуки гусель и шювыра... Мне кажется, что соловей поет о любви...

Я повернулся на бок. Мирон Семенович сидит тихо, покуривает свою трубочку, то ли, как я, просто слушает соловья, то ли о чем-то задумался.

Мирон Семенович – бобыль, работает сторожем при пасеке и там же, в маленькой сторожке, живет зиму и лето. В его сторожке круглый год стоит острый и пряный запах сушеных трав, в которых он понимает толк и знает, какая трава от какого недуга помогает. Когда ни придешь к нему, обязательно увидишь в сторожке какого-нибудь лесного гостя: зайца, ежа, лису или птицу. Однажды, помню, у него была даже цапля, которая уныло стояла на одной ноге, повесив раненое крыло. Он подбирает всех раненых и больных животных, выхаживает их, а потом отпускает на волю.

В небе зажглись звезды. Они горят, то словно притухая, то разгораясь, как будто приближаются к земле, чтобы лучше разглядеть ее, и опять удаляются.

– Мирон Семеныч, расскажи сказку, – прошу я.

Старик откликнулся не сразу. Помедлив немного, он проговорил:

– Ты разве не знаешь, у нас, марийцев, говорят, что летом сказки нельзя рассказывать. Их можно рассказывать только, когда снег ляжет на пенек. Обычай старинный, не нам его рушить. Ежели хочешь, расскажу я тебе одну давнюю историю про это вот озеро, мне ее еще дедушка рассказывал. Это озеро у нас называют Звездным озером...

И Мирон Семенович начал свой рассказ.

Лишь только вступит ночь, на всем бескрайнем небе загораются звезды. Проходят годы, века, тысячелетия, а звезды горят все так же ярко. Они вечно молоды. Красив, но холоден свет звезд, они дали клятву Хозяину Неба никого не любить и никогда не выходить замуж.

Иногда бывает, что звезда полюбит какого-нибудь юношу и, забыв клятву устремится к нему вниз, на землю. Но все они погибают в пути, не долетев до земли.

И вот она Звезда полюбила пастуха-марийца по имени Яктанай.

Был Яктанай круглый сирота, был беден, но вырос сильным и выносливым юношей. С первой травы до поздней осени он пас деревенское стадо, а зимой охотился на дикого зверя. И сколько лет прошло, ни одной коровы не потерял он, ни одной овцы, а с охоты, бывало, возвращался и с убитым медведем.

Одевался Яктанай небогато: холщовая рубаха, штаны из самотканого крестьянского холста, на ногах лапти (лапти-то он сам плел). Да и откуда у сироты богатство? Все его богатство заключалось в одной-единственной дудочке-свирели.

Но зато, надо сказать, играл он на ней, как никто не умел играть. Хорошо поет соловей, а свирель у Яктаная пела еще лучше. Говорят, что соловей научился песням у Яктаная.

Заиграет пастух на своей свирели, и все сходились слушать его. Коровы переставали пастись, дикие звери сбегались со всего леса, птицы умолкали, застыдивших своих песен, пролетающий ветер останавливался – и все это для того, чтобы только послушать игру Яктаная.

Великую силу имла его игра: злой человек становился добрей, в несчастном пробуждалась надежда, что когда-нибудь и к нему постучится счастье.

А односельчане-то Яктаная хорошего в жизни видали мало, потому что поблизости от деревни, в болоте, жил злой болотный Керемет.

Во время молебствий на мольбище марийцы усерднее всего молились не Матери белого Солнца, не Матери Земли, а этому злому Керемету, ему приносили жертвы, его упрашивали, чтобы стал он добрее, чтобы унял он свой гнев. Давали ему в жертву домашний скот, охотники уделяли часть добычи – лисиц, зайцев, кабанов – ничего не жалели для злого духа.

Но ничто не могло умилостивить болотного страшилища, любое приношение было для него мало. Принесенных зверей и домашний скот он проглатывал за один глоток и требовал новую жертву, завывая, как сто голодных волков. В неумной злобе вырывал он с корнем столетние сосны, ломал их в щепки, учинял бурю на озере, подымал воду вверх и обрушивал на избы, заливал поля, топил скотину в болотах. Но и этого казалось ему мало: он превращался в комара и пил человеческую кровь...

Вот он был каков, злой болотный Керемет. Марийцы очень боялись его и не знали, как от него избавиться.

Один Яктанай не боялся Керемета.

Бывало, возвращается он из лесу с добычей, а люди спрашивают его:

– А ему оставил что-нибудь?

(Марийцы боялись даже имя Керемета поминать, поэтому о нем говорили только «он», не называя по имени).

– Ничего я Керемету не оставил, – отвечает пастух. – Пусть сам себе пищу добывает.

– Что ты! Что ты! Не говори так! Он рассердится, хуже будет и тебе, и нам! Не замолишь такого греха...

– Не молиться ему надо, а сразиться с ним, – говорит Яктанай.

– Никто не посмеет против него выйти. Не родился такой человек. Видно, будет он всегда властвовать над нами и нашими детьми, – уныло вздохнули люди и замолчали.

Многие девушки в деревне засматривались на красивого пастуха, по самому Яктаная была мила только одна Яштывий – юная красавица Яштывий, жившая в соседней деревне, дочь бедной, слепой вдовы.

Всем сердцем любил Яктанай юную Яштывий, но она была еще слишком молода, чтобы думать о замужестве.

У марийцев прежде был обычай: когда девушка достигала возраста невесты, она выходила в сад и трубила в тютреч-пуч – длинную берестяную трубу. Это значило, что теперь женихи могут свататься за нее. А пока девушка не брала в руки тютреч-пуча, юноши не смели даже близко подходить к ней.

И вот однажды, летним вечером, после захода солнца, пастух вдруг услышал призывный звук тютреч-пуча. Этого тютреч-пуча Яктанай никогда прежде не слышал, но почувствовал сердцем, кто трубит в него сегодня.

Далеко разносится сильный звук берестяной трубы, отдается эхом в окрестных лесах.

Услышав тютреч-пуч, Яктанай поспешил на его зов.

В своем саду стояла стройная, как березка, Яштывий в белом вышитом платье.

Яктанай поклонился ей и сказал:

– Здравствуй!

– Здравствуй, Яктанай, – ответила девушка и тоже поклонилась.

– Яштывий, три года ждал я этого дня.

Ничего не ответила девушка, только покраснелась, опустила глаза к земле.

Яштывий и Яктанай сели на мягкую, как пух траву.

– Сыграй мне на своей свирели, – просит Яштывий, и парень заиграл.

Никогда он не играл так хорошо, как в этот вечер. Деревья приклонились, слушая его, а у Яштывий радостно замирает сердце.

– Смотри, Яктанай, даже звезды ярче разгораются, слушая твою игру, – сказала Яштывий. – А особенно ярко горит вон та звезда, возле Большой Медведицы.

Это была как раз та звезда, которая полюбила молодого пастуха.

Всю ночь, до алой утренней зари просидели вместе Яштывий и Яктанай, и ночь показалась им мгновением.

– Ах, мне пора домой. Мать, наверное, уже хватилась меня! – воскликнула девушка и поспешила в избу.

– Что-то уж очень хорошо играл сегодня пастух на своей свирели, – сказала мать. – Уж не нашла ли ты, дочка, сегодня свое счастье? Ну что ж, дай бог. Выйдешь замуж... А там, может, и выпадет мне радость внучат понянчить...

– Что ты говоришь, мама... – смущенно перебила ее Яштывий.

– Ладно, ладно, не буду... Подои корову, пора уж, наверное выгонять...

Яштывий подоила корову, принесла молоко в избу и говорит:

– Мама, у нашей коровы опять вымя в крови, и молока она сегодня дала еще меньше.

– Ох, ох! Что случилось с коровой, ума не приложу, – разохалась мать. – Третий день вымя в крови! Отчего? Может, ее ведьма мучает? Сходи, дочка, на пастбище, пригляни за нашей буренкой, может, и узнаешь что.

Яштывий выгнала корову в стадо, а управившись домашним делами, пошла сама на пастбище.

Пришла, смотрит: нет их коровы. Пошла ее искать в лес.

Идет, кличет – корова не отзывается. Потом слышит треск в кустах, глядит – а это корова забралась в самую непроходимую чащу и еще дальше куда-то лезет.

Корова пробирается сквозь кусты, девушка за ней. Вышла корова на полянку и беспокойно замычала, как будто зовет кого-то. Яштывий спряталась за дерево, стоит, смотрит, ждет, что будет.

Вдруг из лесу выползла большая черная змея. Змея подползла к корове, обвилась вокруг задней ноги, поднялась к вымени, захватила сосок и стала сосать молоко. Корова тотчас успокоилась и перестала мычать.

Напившись молока, змея опустилась на землю и задремала отдыхая.

Яштывий схватила крепкую палку, тихонько подкралась к змее, размахнулась, хочет ударить змею по голове, убить ее, а та ей говорит человеческим голосом:

– Не убивай меня, красавица, а за доброту твою я дам тебе живой воды. От этой воды твоя слепая мать прозреет.

– А не обманешь? – спрашивает Яштывий.

– Клянусь, не обману, – отвечает змея.

Бросила Яштывий палку в кусты.

– Ну, давай живую воду!

– Иди за мной, будет тебе живая вода, – говорит змея, и вдруг пропала из глаз.

Оглянулась Яштывий вокруг: со всех сторон ее обступила лесная чаща. Шагнула вперед – на пути толстое дерево стоит; шагнула направо – гнилой кряж под ноги бросился, споткнулась об него, упала; шагнула налево – пред ней поднялся стеной колючий кустарник.

И вдруг видит она и глазам своим не верит: деревья сами собой расступились, и прямо перед ней далеко-далеко пролегла прямая дорога. А там, вдали, виднеется просвет, конец леса.

Пошла Яштывий по дороге. Идет, а за ней лес вырастает. Идет-идет да оглянется: впереди дорога, а сзади – чаща темная. Страшно ей стало, подумала она: «Уж не вернуться ли?»

И только она это подумала, как почудился ей голос матери, будто просит ее мать:

– Принеси мне живой воды, доченька. Дай хоть раз еще взглянуть на белый свет...

Забыла Яштывий о своем страхе, пошла дальше.

Лес поредел, началось болото. Черные скрюченные деревья растут на кочках, пахнет гнилой водой, под ногами дрожит трясина, Яштывий идет по колена в холодной черной воде...

Впереди то ли большая кочка, то ли бугор.

Вдруг бугор с громом разверзся, открылась черная дыра.

И из черной дыры показался сам Хозяин болота злой Керемет.

Был он страшен и мерзок. Весь оброс черной слипшейся от грязи шерстью, морда него – козлиная, большой живот до земли свисает, ноги маленькие и кривые. Узкие глазки-щели и маленький острый нос еле видны из шерсти. А изо рта, вместо языка – змея. Не дай бог даже во сне увидеть такое страшилище!

А за ним из дыры, будто черная туча, лезет целая свора протых кереметов – все грязные, мокрые, один противней другого.

– Ха-ха-ха! Живой воды захотела! – смеется Хозяин болота страшным смехом, а изо рта у него, извиваясь, шипит на Яштывий змея-язык.

И остальные Кереметы, глядя на Хозяина, ржут, трясясь от смеха, хлопая себя лапами по грязным животам.

– Ну, дадим ей живой воды? – спрашивает Хозяин болота.

– Дадим! Дадим! – кричат кереметы.

– Бросьте ее в глубокую яму, там воды достаточно.

Кереметы окружили Яштывий, схватили ее за руки, за ноги, поволокли и бросили в глубокую мокрую и вонючую яму.

Сидит Яштывий в яме, горюет.

Пришел к ней Керемет и говорит:

– Мой род хиреет, а людской крепнет. Но если обновить нашу кровь людской, то кереметский род снова воскреснет. Ты будешь моей женой и родишь мне много детей-кереметов.

Протянул Керемет руки к девушке.

Но Яштывий изо всех сил отбивается, не дает себя обнять.

– Слушай, девушка, – говорит Керемет. – Станешь моей женой – выпущу тебя из ямы, будешь жить в сухом месте. Я самый богатый Керемет в окрестных бологах, все мое богатство отдам тебе.

– Нет, никогда не буду я твоей женой, – отвечает ему Яштывий.

– Даю тебе сроку три дня. Подумай хорошенько. Откажешься выйти за меня замуж – сгниешь в этой яме. На спасение не надейся, никто сюда дороги не знает, никто не придет тебя выручить.

Наступил вечер. Давно уже стадо пригнали в деревню. И корова Яштывий пришла домой, а девушки все нет и нет.

В горе плачет мать:

– И зачем только я послала дочку в темный лес! Сердцем чую: стряслась с нею беда. Недаром видела я прошлой ночью страшный сон, будто дочка провалилась под землю...

И Яктанай горюет.

Уже темнота окутала землю, а он все бродит по лесу, по лугам, ищет свою Яштывий.

Не нашел парень свою девушку, сел на берегу озера, заиграл на свирели печальную песню.

От этой печальной песни склоняются к земле деревья, вянут цветы, плачет ветер.

Вдруг стало светло как днем. Поднял Яктанай глаза к небу и видит – в небе прямо над ним сияет девушка-Звезда.

Ах, как она была красива и нарядна! На голове сверкающий убор, на шее золотое ожерелье, сама одета в блестящее платье, расшитое вышивками, украшенное драгоценными камнями, на каждом пальце серебряное колечко, на каждой руке – серебряный браслет. Если такая красавица мимо юноши пройдет – закипит у него кровь, если взглянет – от того взгляда ослепнуть можно, заговорит – будто ручеек ласковый зажурчит.

– Почему ты сегодня играешь так печально, юноша? – спросила Звезда. – От твоей игры и мне грустно.

– Кто ты? – в удивлении спросил Яктанай.

– Я – Звезда, и я люблю тебя. Возьми меня за себя замуж.

– Нет, я люблю Яштывий, только на ней женюсь.

– Да, я знала, что ты ответишь, так, – печально проговорила Звезда. – Всегда смотрят друг на друга небо и земля, день и ночь, но никогда не смогут быть вместе. И я не могу сойти к тебе: все мои подруги, которые полюбили земных юношей и захотели прийти к ним, погибли. Никогда я не смогу быть счастлива с тобой. Но будь счастлив хоть ты. Твоя Яштывий не погибла, она жива. Хозяин болота злой Керемет заманил ее в свое логово и бросил в глубокую яму. Керемет хочет взять ее в жены, но она любит и ждет только тебя. Иди спаси ее, Керемет назначил свадьбу через три дня.

Яктанай, не мешкая, пустился в путь.

Деревья расступаются, пропуская его, Звезда с неба освещает путь.

Яктанай пришел к тому бугру, в котором жил Хозяин болота злой Керемет.

Пастух достал свирель и заиграл.

Раздался удар грома, бугор разверзся и оттуда, из темной дыры, вышел сам Керемет, а за ним вылезли все прочие керемети.

А Яктанай все играет, не перестает. Не по себе от игры пастуха Керемету, чувствует он, что звуки свирели берут над ним власть, что, может быть, и совсем подчинят его себе.

– Перестань, пастух! Не могу слышать твою проклятую свирель! – закричал Керемет. – Говори, зачем пришел?

Яктанай перестал играть и говорит:

– Я пришел освободить Яштывий.

Засмеялся злой керемет, засмеялись все остальные кереметы, прыгают, хлопают себя лапами по грязным животам.

Хозяин болота подошел к парню и сказал:

– Хорошо, отдам тебе девушку, но сперва докажи, что правду говорят о тебе, будто бы ты любую работу можешь сделать. Видишь это грязное болото?

– Вижу.

– Так вот, надоело мне жить в сырости и в грязи, хочу жить на сухом месте. Осушишь болото за три дня – девушка будет твоя, не исполнишь работу – я женюсь на Яштывий.

Ему к работе не привыкать, любое дело у него в руках горит. Первым делом вытесал Яктанай лопату крепкую, дубовую, и той лопатой стал канаву копать, чтобы воду спустилась.

За три дня выкопал Яктанай канаву, ушла вода, высохло болото. Не стало больше комаров и мошкары, и там, где прежде разливалась гнилая вода, раскинулся широкий луг, выросла зеленая трава-мурава, расцвели красивые цветы.

Кереметы рады: прыгают, валяются по траве, сушат свою мокрую шерсть.

– Правду говорят, что ты хороший работник. Жаль отпускать тебя. Эй, кереметы, хватайте его, посадите в самую глубокую яму!

Налетели кереметы на парня, как черная туча. Начался бой. Храбро бился Яктанай, множество побил кереметов, но слишком уж неравны были силы. Яктанай одного убьет, а на его место десятеро лезет, десяток прикончит, а их, гляди, уже сотня...

Свалили кереметы парня с ног, опутали руки-ноги, подхватили и бросили в глубокую темную яму

Глубокая яма – отвесные края – не выбраться из нее, не выпрыгнуть.

А Хозяин болота злой Керемет приказал начинать свадьбу.

– Не хочет Яштывий идти за меня добром, заставлю силой, – сказал он и велел привести к нему девушку.

Отпустили кереметы лестницу в ту яму, в которой томилась Яштывий, взяли под руки, хотят вести к Керемету. Заплакала, зарыдала девушка, говорит:

– Лучше умереть, чем идти замуж за Керемета!

Плачет Яштывий, в бессильной ярости стонет Яктанай – не мила им жизнь, не мил белый свет, день черной ночью кажется.

И вдруг темное небо расколосось надвое, и по нему пролетела, пылая и сгорая в полете, Звезда.

Пролетая над Яктанаем, она бросила ему в яму сверкающий меч.

– Когда будешь счастлив, не забудь меня! – крикнула Звезда и, сгорев, упала где-то за дальним лесом.

Когда Яктанай взял в руки меч, у него сразу прибавилось силы, одним прыжком выскочил он из ямы и вступил в бой с несчетным воинством керемтов.

Яктанай победил врагов и срубил голову самому Хозяину болота злому Керемету.

Потом Яктанай поднял свою любимую Яштывий на руки и так на руках, через лес и луга, принес домой и положил на лавку.

Старая мать, обняв дочь, заплакала:

– Ты жива, жива, моя доченька!

Первый раз в жизни плакала старая женщина слезами радости, и эти слезы радости, омыв глаза, исцелили их: она прозрела.

Неделю спустя сыграли свадьбу Яктаная и Яштывий. Говорили, что никогда еще не было такой веселой свадьбы.

Яктанай и Яштывий жили долго и счастливо, крепко любили друг друга, и было у них много детей – семнадцать сыновей и семнадцать дочерей – все в отца и мать: красивые и трудолюбивые.

Всю жизнь с благодарностью вспоминали Яктанай и Яштывий Звезду, которая помогла им в тяжелую минуту, и наказывали детям и внукам помнить ее.

– Было все это в наших краях, – закончил свой рассказ Мирон Семенович. – Звезда эта упала как раз вот тут, а где она упала, образовалось озеро. С тех пор его и называют Звездным озером...

*Перевод В. Муравьева*

## ГЕННАДИЙ ГОРДЕЕВ

(1960)

Родился в д. Яндемирово (Ондропсола) Параньгинского района Республики Марий Эл. В 1984 г. поступил на историко-филологический факультет МарГУ, стал работать литературным редактором журнала «Голос пионера». В 1991 г. перешел в редакцию только что открывшейся марийской молодежной газеты «Кугарня» заместителем главного редактора. В 1992-1994 гг. – обозреватель газеты «Марий Эл». С 1994 г. – штатный драматург Марийского ТЮЗа. С 1996 по 2002 г., совмещая работу в театре был редактором общественно-политических передач Марийского ТВ. С 2002 г. по настоящее время является заведующим литературно-драматической частью Марийского театра юного зрителя.

### Водяная мельница

*Рассказ*

Где-то гремит гром. Наверное, опять будет сильный дождь. В который уж нынче раз.

Салтак Павыл раньше только был бы рад дождю, но в последнее время стал сильных дождей остерегаться. Не за себя беспокоится, за свою мельницу. А она до того стара, что вот-вот, думаешь, рухнет.

Салтак Павыл живет один, чуть в стороне от деревни, рядом с мельницей, в маленькой избушке. Сколь себя помнит, все возле мельницы. А избушку срубил ему после войны колхоз. Советовали хозяину ставить в деревне: сельчане тогда без мельницы и Салтака Павыла и жизни-то, можно сказать, не представляли. Но Павыл не согласился: он ведь на этой мельнице родился, там рос и семьей обзавелся там же. Теперь вот уж скоро десять лет, как умерла у него жена. Салтак Павылу самому к жатве исполняется 84 года.

Прежде он чуть не каждый день не навещался в деревенский магазин. Теперь недостает сил прошагать несколько сот метров пути, поэтому появляется в магазине когда два, а когда и один раз в неделю. А и придет, так на долго не задерживается, не потреплет, как прежде, языком с соседями, усевшись на магазинное крыльцо. Поздоровается-попрошется да и идет своей

дорогою домой. Пока дойдет до мельницы, остановится два-три раза передохнуть. И поглаживая длинную свою бороду, оглядывается вокруг, словно вернулся из каких-то дальних краев на родину, желает выяснить, что изменилось.

Мельница еще работает надежно. Как же иначе, ею управляли настоящие мастера дела. Раньше на мельнице работал отец Пavyла. Но только хозяин тогда был другой – богач Микита. Салтак Водыр, говорят, около двадцати лет провел в царской солдатчине, пока не вернулся по ранению с японской войны. Нанялся к Миките батраком. Жил при мельнице в кладовой. Салтак Пavyлу и прозвище перешло от отца, и ремесло он у отца перенял. Благодаря Пavyлу мельница работала ничуть не хуже прежнего. Да разве сыщешь в округе другую такую, что так хорошо бы молола муку! И мастера, как Пavyл, днем с огнем поискать. Зря ли езживали из других мест, к нему молоть, только в последнее время приезжают реже и реже: на «электрическую» ездят. Хотя о муке с электрической мельницы говорят всякое. Говорят, будто самому, в горячей печи, хорошего хлеба из нее не испечь. Да ведь из-за хлеба нынче лишнего хлопотать нет нужды, сходил в магазин и купил. Вроде бы не осталось таких, кто бы сам пытался печь. Только Пavyл по старинке сам ставит хлеб. И приезжающих к нему молоть угощает.

Вот и сегодня никого из приезжих. Пavyл только тогда чувствует в душе покой, когда мельница его работает. А нет работы – такая тоска, хоть волком вой. Тогда Пavyл не знает, что ему и делать: то обойдет вокруг мельницы, то одно возьмет в руки, то другое, ворчит. Потом спускается к реке, садится на берег, долго смотрит на отливающую синевой воду, радуясь душой. А река будто не знает о тоске Салтак Пavyла: лижет берег волнами, веет на него отрадной свежестью.

Река широкая, и вода чистая, и рыбы много. Раньше, помнит Пavyл, было еще больше. Все помнит, поэтому и чувствует боль в душе. Но сам не любит ловить рыбу, больше радуется той, что плавает в воде.

«Жаль, некому продолжить дело, – разные мысли приходят Пavyлу. – Был бы сын, не пришлось беспокоиться за будущее мельницы». А почему детей не было, Пavyл и сегодня не знает: жили с супругой в любви, согласии, виноватого меж собой не искали.

«Совсем что ли нас забывают? – грустно озирается Павыл. – Хоть не по делу, а так бы приехали из деревни, на речную красоту полюбоваться. И искупаться, видать, не тянет в летнюю жару. Нет, видимо, не зря и ребятишки ходят все реже и реже. Что поделаешь, времени поди нет, работы много. Ведь колхозное хозяйство немалое, да и по дому работы полно. Э-э-э, вот помру, пусть тогда, что хотят, то и делают. Коли река с мельницей никому не нужна, кому нужен я», – махнет про себя рукой.

Вот прямо перед Павылом, на воде, рыбий отблеск, он тотчас исчез, оставив расходящиеся круги. Неподалеку другая, ударив хвостом, взметнула воду. «Играйте, играйте, сейчас время вам играть», – улыбается Павыл.

По обоим берегам реки заросли ивы. А за ивами – просторный луг. Оттуда слышен гул моторов тракторов и машин. «Везде заменяет силу рук техника», – вместе с радостью и горечь чувствует Павыл в душе. Ведь прежде видел сенокосную пору в самой красе. Вся деревня опускается на деревенский луг: кто с косой, у кого в руках грабли, у кого вилы. Здесь и там слышатся ржание лошадей, разговоры, смех и серебристо рыдающие на лугу песни девок и парней. Как же радовался Салтак Павыл всему этому и ходил, словно на крыльях, и работалось веселей, веселее крутились мельничные жернова. А насчет муки, как сказал бы сам Павыл, «слава богу», только добрые слышались от народа слова.

С годами смех косцов, звуки песен, ржание лошадей стали вытесняться рокотом тракторов, других разных машин – Павыл почувствовал, как раздается вокруг запах бензина и солярки.

«Ничто не поделаешь, жизнь меняется. Так, глядишь, до того дойдет, что и мельницу...» – не посмел Павыл предсказать участь своей мельницы, сошел со своего места.

Совсем рядом ударил гром. Увидев идущую со стороны леса черную тучу. Павыл по-своему принялся ругать погоду. А сам медленно бредет к мельнице. Не избушка, где живет, а мельница ему ближе, роднее. Река, мельница и Салтак Павыл составляют неразделимое целое. Недаром народ деревенский не спрашивает при встрече с ним «как поживаешь?», а приветствуют другими словами: «Как река наша дышит?», «Ничего, дышит помаленьку», – отворачивается, улыбнувшись, – не хочет показать горечи в своей душе.

Иногда Салтак Павыл разматывал клубок своих мыслей: «Хорошо бы в помощники взять паренька какого помоложе». Вообще-то он говорил председателю колхоза. Один раз приезжал рыбу удить, сидел у пруда. Тогда Салтак Павыл и начал свой разговор:

– Николай Иванович, мельница у нас больно старая, нелишне бы новую поставить.

– Павыл... – председатель следит за поплавком. – Павел Федорович, поставил уж, для чего две-то?

– Так ведь ту разве с водяною сравнишь? С той муки и хлеба то не испечешь.

– Хлеб в магазине. Поймите, Павел Федорович, жизнь идет вперед, не можем же отстать от нее.

– Хлеб, самим испеченный, мягкий, и речная вода – это разве «отстал от жизни?» Человек часть природы. Душа человеческая, природа не состарятся никогда.

– Правильно, реку мы будем охранять. Плотину вот поставим.

– Плотину? Плотина... – тогда Салтак Павыл умолк и долго стоял, глядел в председателю спину.

Он знал, в последнее время всюду ставят плотины. «И здесь, значит, поднимется. Нет, я не против плотины. Пусть будут трактора, машины и электрическая мельница ихняя – пусть народу легче живется. Но зачем не сохранить то, что есть, хоть оно и старое», – обжигало Павылу сердце.

Всем сердцем чует он разрыв между прошлым и будущим, оттого и горько: тяжелый камень все больше и больше давит на плечи. Ведь всю свою жизнь он провел на этом берегу, около пахнувшего травой луга, радуясь нежной мелодии своей мельницы. При звуке косы сам запевал долгую песню, улыбаясь от конского ржания. Заслышав песни и пляски с деревни, сам спешил в народ. А сейчас заместо косы гудит трактор. Лошадей-то в деревне осталось две-три, и с каких пор не слышно из деревни звонкой гармонии с бубенцами. А плотину Павыл видел, в соседнем колхозе: «Глубокие овраги перепрудили воду: ни течения, ни журчания, ни чистой воды тебе, родников и тех почти не осталось. Есть, конечно, ключи где-то на дне, но разве сравнишь их с теми, что стекают по берегу. В нашу вон реку войдешь купаться, так простыми глазами дно видать. А на плотине?»

Вообще-то Салтак Павыл понимает: жизнь становится все лучше. Но все как-то не так. А как – Павыл недопонимал. Только ему кажется, что все-таки что-то не так. Оттого и горько ему иногда, ох, как горько-то.

Да, в другой жизни родился и вырос Павыл, в ином мире. Тот мир ему более дорог, более близок, сросся с ним душой. «Но прошлое не воротишь, – в то же время понимает он. – Людям, нынешним, их жизнь, вот такая, нравится. Каждое поколение свое время хвалит». Да-да, он все прекрасно понимает, но в душе... Одним лишь пониманием легче не станет.

Что, разве сегодня только заболела у него душа? Сколько лет уже мучается, недосыпает из-за этого. Помнит как сейчас один летний день. Приехали на речной берег трактора и начали валить деревья, раскорчевать. А к осени начали вывозить оттуда торф. «Полю торф нужен, – Павыл не против этого, очень хорошо понимает, а все равно сердцу беспокойно. – Но что вышло потом: замелели реки. А про рыбу что и говорить. Эх, сколько рыбы было! Теперь в плотинах пытаются карпа развести... Что об этом тревожиться? Жизнь прожил... Поколение другое, сами знают как быть...» – махнет иной раз Павыл рукой, но нет-нет да и кольнет прямо с сердца, и нет покоя: «Вот доказать пытаются, будто в болотистых местах люди часто болеют простудой. А в наше время кругом болота были, но никто о хвори и не поминал. Сейчас и болот нет, а какой толк. Чуть подул влажный воздух – как некоторые неделями на пуховых перинах отлеживаются. Эх-хе-хе-е, коли нет внутри силы природной, откуда же здоровью-то быть».

Помнит Павыл, очень хорошо помнит: аккурат в тот год, когда болото осушили, будто кольнуло его до боли в сердце, после этого все чаще и чаще. Помаленьку стал и в деревню дорогу забывать. Раньше, бывало, перед магазином сидят, собравшись, сверстники его – покалякают о том о сем, вспомнят молодое времечко. «Хоть и тяжелая была жизнь, а прожили красиво и интересно», – порешает в конце. «И сейчас перед магазином часто сидят, болтают, – опять разматывает Павыл клубок мыслей. – Теперь молодежь хвалит времена осушения болот; хвастают, что ручную силу машиной заменили... А еще более мо-

лодые о чем только не говорят. И что хорошего нашли? Вот в наше время...»

Салтак Павыл теперь перед магазином не задерживается, купит, что нужно, и идет потихоньку своей дорогой. Не тянет его в деревню. Там ему и жизнь кажется чужой, и речи. Нет, слова-то вроде все знакомые, и понять можно, но звучат как-то по-другому. «Каждому свое дорого. Сказать только, революция, гражданская война, коллективизация, война с Гитлером – всего довелось повидать, все до сих пор перед глазами», – успокаивает себя Салтак Павыл.

Теперь гром прогремел над самой головой, да так сильно, что Салтак Павыл вздрогнул от испуга и глянул вверх: надвигалась, клубясь, черная туча. Немного спустя поднялся ветер. Павыл медленно тронулся к дому, в это время рассыпался мелкий дождь, и тут же хлынуло как из ведра. Павыл зашпешил к дому. Павыл зашпешил к дому.

А ветер все усиливается. все хлещет Павылу в лицо дождевой водой, будто испытывает стариковские силы. Салтака Павыл взялся за ручку двери. Но только потянул, ветер вырвал дверь из руки и распахнул ее настежь, бросив дождя на веранду. Павыл опять ухватился за ручку, напрягая силы, захлопнул дверь изнутри. Затем устало завалился на ступеньку, уселся поудобнее.

Долго он сидел, не двигаясь и не замечая свою мокрую одежду. А дождь по-прежнему лил как из ведра, громко простукивая крышу. Немного погода страшно загредел гром, засверкала молния. Но Салтак Павыл не спешил в дом. Ему и здесь думалось хорошо, думалось о прошлой прожитой жизни. «Все-таки было прекрасно, но не вернуть», – который раз он заключал мысленно одно и то же.

Так прошло полчаса, час, полтора. Так же на улице сверкали молнии, гредел гром, со страшной силой хлестал дождь.

Вдруг с улицы донесся незнакомый грохот. Затем вновь кочыри-ик, шоты-к-кыр-р-рок и мощный удар – «рошт». И тут пошло-понеслось звонкое и могучее гу-у-р-р.

Сердце Павыла беспокойно кольнуло, он даже задрожал от предчувствий. Быстро встал и только успел открыть дверь, как ветер и дождь со страшной силой откинули его прочь от двери.

Павыл пошатнулся, но тут же, оперевшись на стену веранды, изо всех сил оттолкнулся вперед.

Вот он на улице. Не поддаваясь стихии, спешит к мельнице. А ветер с прежней силой хлещет в лицо дождем, не давая взглянуть, временами тяжело толкая старое тело назад. Но Салтак Павыл хочет увидеть, только мельницу свою хочет увидеть. Сердце его будто стронулось с места. Теперь он не чувствует ни резкого ветра, ни сильного дождя, через силу направляя свой взгляд в сторону несущейся с ревом реки, пытается оглядеться вокруг.

Вот, вот же она, его мельница, последняя опора в жизни, здесь же должна быть. Самая дорогая, самая близкая, последняя подруга в жизни, вот, здесь должна... Должна!.. Должна?.. Но где же она, где мельница?! «Нет-нет, неправда... Ошибся местом, – Павыл поворачивает в другую сторону. – Пруд! – в душе его шевельнулась радость. – Вот пруд! Но почему?.. Ушла?»

Теперь Салтак не чувствует себя, бежит к мельнице: «Мельница! Есть!» – чуть вдалеке замечает свою мельницу, собрав все силы, ускоряет шаги, спотыкается, падает, опять встает, спешит, спешит. Но мельница все удаляется, удаляется мельница. Вот раздалось «кычыр-кочыр, шытыр-шотыр» – и наклонилась мельничная крыша, затем весь сруб медленно упал в воду. Закрутилась посредине река, и спустя мгновение стало видно только, как плывут по воде бревна и доски.

Салтак Павыл хотел крикнуть что-то со всей силой, но голоса своего не услышал, и в то же мгновение почувствовал, как что-то сильное схватило его за сердце... Обо что-то ударилась нога. Обессилевший, не удержался Павыл, его тяжелое тело словно подкошенное резким ветром, плавно легло на землю...

Хотя хоронить Салтак Пavyла собралась вся деревня, ни плачущих, ни печальных лиц не было. Как раз под вечер собралась туча, и, словно горюя о Пavyле, шел мелкий дождик. Только тогда зашевелилась в людях тоска о чем-то непонятном. У тех, кто проходил вдоль реки и видел на месте мельницы пустырь, а вместо широкой речной воды маленький ручеек, подступил к горлу горький ком... Только маленькая избушка Салтак Пavyла сиротливо стоит там сейчас.

*Перевод С. Суркова*

## НИКОН ИГНАТЬЕВ

(1895 – 1941)

Родился в д. Чаломкин Горномарийского района Марийской АССР в семье крестьянина. Писал с 1915 г. Печататься начал в советские годы. Он автор первого марийского романа. В 20-30-е гг. им были изданы романы «Стальной ветер», «Савик», «Страна родная», повести «Дочь комсомола» и «Старое умирает». Перевел на марийский язык произведения М. Горького, А. Серафимовича, Д. Фурманова. Книги Н. Игнатьева стали первыми художественными произведениями на горном наречии марийского языка. Повесть «Старое умирает» издана в переводе на чувашский язык. Н. Игнатьев с 1934 г. состоял членом Союза писателей. Был делегатом Первого съезда писателей СССР.

### Старое умирает

*Отрывок из повести*

Сосед Михали, Карп Семенов, взяв железную лопатку, зашагал к огородам. Посмотришь на него и не подумаешь, что когда-то он был одним из самых лютых мироедов в деревне. Тщедушная борода, мягкие морщины на лице, добрый с виду взгляд – кто может быть добрее и вежливее этого человека? Вот и сейчас, встретив председателя колхоза Сохаткина Николая, не сделал вид, что не заметил его, не спрятался в зарослях хмеля. Предупредительно снял стареньки картуз и, улыбаясь, подошел к председателю:

– Николаю Кирилловичу мое нижайшее почтение...

Заговорил почтительно, словно не его выгнали из колхоза за нерадивость и за чуждые разговоры, словно они с председателем самые закадычные друзья...

– Работаем помаленьку, крепим народное добро? Скоро, наверное, кончите с уборкой? – голос Карпа вкрадчив, доброжелателен. – Надо, надо, пока хорошая погода.

– Надо бы, да людей не хватает. Но, надеюсь, справимся. Один из двоих сейчас работает. Знаем, за что взялись. Трудно, но выдюжим, – искоса поглядывая на Карпа, произносит Николай Кириллович: чего уж так добр стал Карп?

– Готовые снопы недолго с поля убрать, – убежденно, словно хозяин, соглашается тот. – Самое главное – ждать. Что выжато – считай, в амбаре... Воскресник провели – хорошо придума-

ли. Вчера, проходя по полю, вижу: эх, работает же молодежь! Даже не утерпел: увидел чей-то свободный серп и сделал двадцать пять снопиков... Хе-хе...

– Видел, видел...

– Меня, Николай Кириллыч, некоторые несознательные люди прозывают кулаком, а я всей душой вместе с народом... Посудите сами, какой я теперича кулак? Настоящий батрак...

Не к месту бы улыбаться, но Карп не поскупился и на улыбку. Улыбнулся и Николай. Одним словом, посмотришь со стороны и подумаешь: встретились наилучшие друзья. И кто бы мог предположить, что когда-то Николай был работником у Карпа и прозывался Колькою-Неряхою. Этот крепок, под кулацкую песню не уснет.

– Настоящим батраком стал я... Кому-то огородик покопаю, кому-то дровишек наготовлю – глядишь, и жив, как божья птичка, зернышком. А у вас – большая работа. Большой рыбе и большое плавание, – закончил Карп и с той же вежливостью откланялся.

– Спасибо на добром слове, – ответил Николай Кириллович и с минуту не спускал глаз со сгорбленной спины уходящего Карпа. – Ну и хитер! – подумал он. – Верь ему на словах... Не сдадутся легко враги... Правда, самых крупных уломали в первые же годы, но остались помельче. И они смущают народ... Вот и Карп. Говорит мягко, а слышно: за спиною наговаривает на колхоз. Готов напакостить нам. Не случайно подозрение пало на него: это он подстроил, что поломалась жнейка. Но не пойман – не вор... И живет-то по-бедняцки. Когда-то у него было крепкое хозяйство. Но незадолго до колхозов, почуввав опасность, продал лошадей, скот, дом отдал сыну, а тот даже в газете дал публикацию, что отделяется от отца... Пустил слух, что деньги, вырученные от продажи добра, выкрали лихие люди...

Сейчас Карп живет в маленькой избушке, похожей на черную баню. Ходит в драной одежде. Чтобы поддерживать славу бедняка, частенько занимает у соседей то хлеб, то муку. Хотели его даже раскулачить, а у него за душой вроде бы ни гроша не оказалось.

Расставшись с Николаем, Карп зашагал было к огородам, но увидев на соседнем дворе Михалю, направился к нему.

– Дома сидишь? О хозяйстве беспокоишься? – осведомился Карп.

– Поневоле будешь сидеть. Геннадий вчера ночью из дома сбежал. Совсем отбился от рук. Жена ушла к соседям, – Михаля провел ладонью по лысой голове и затылку.

Зашли в избу. Карп снял драный картузишко, поклонился в передний угол и стеснительно, словно гость, присел на краешек скамейки.

– Ты, Михаля, никак болеешь?

– Голова... Трещит...

– С похмелья?.. Эх-хе, злодейское же питье водка, а вот пьем, – сокрушается Карп. – Рад бы помочь другу, да у меня самого в кармане пусто. Позавчера с тобой выпили, вчера весь день голова болела. Вышел в поле, помог парням на жатве – все прошло, – Карп с поддельной веселостью начал рассказывать о том, как работал вчера на колхозном поле и показал себя работягой. Чем больше улыбается Карп, тем больше зла вскипает на сердце Михали, а потом, покраснев от обиды, встал он и сердито заговорил.

– Вот ты, оказывается, какой!

– О чем ты, друг мой? – в голосе Карпа наивное недоумение.

– Надсмехаешься?

– Кто надсмехается, добрый человек?

– Мне твердишь одно, ругаешь колхозы, а сам бежишь выслуживаться перед ними. Видать, ищешь дураков...

Карп послушал, послушал соседа и от души захохотал.

– Посмеешься еще! – пригрозил Михаля.

– Подожди, дружок, не так ты понял...

С лица Карпа сошла напускная наивная веселость. Он пристально посмотрел в глаза собеседнику и доверительно усадил его рядом с собой. И уже потом решился на откровение.

– Эх, дружок, Михаля, – сказал Карп, – уж и рассердился, что я пошел на колхозную работу... А знаешь, как надо жить в этом мире? Если не умеешь хитрить и притворяться, заживо проглотят.

– Так-то оно так, но... – хотел было вставить какое-то возражение Михаля, но Карп продолжал:

– Надо быть ножом с двумя лезвиями: режь и туда и сюда; одной стороной угождай, другой подрезывай. Без этого нынче нельзя... Во время воскресника я и показал свою «добрую душу»... Пускай говорят, что Карп, хотя и бывший кулак, но все же хороший человек... Эх, войти бы мне к ним в доверие, дал бы тогда я волю спичтресту. Запыхал бы пожаром. А пока мы – что овцы. Пока мы, Михаля, с тобой безвредные люди.

Карп ловок на язык. На людях – весь в словах, истинные думы – внутри, но перед Михалей иногда позволяет говорить и то, что на душе...

– Не-не, зло творить – не божье дело... Пускай, как хотят, а нам подальше от них, – зашептал Михаля. – Хватит и того, что сын бунтует дома.

Вошла жена Михали, и разговор прервался. Катерина, утирая слезы, с упреком накинулась на мужа:

– Где Геннадий? Скажи, куда ты дел его?

Михаля огрызнулся:

– Откуда я знаю? Убежал, видать, к своим комсомольцам... Черт бы его побрал!

– Где хочешь, а найди сына!

– Не ори!

– Не кричала бы... В саду на куче соломы только вмятина, где он спал ночью... Сладил, сына избил!

– Не твое дело! – вспыхнул Михаля. – Не я ли хозяин в доме?! – Но мысль о сыне тяжелым камне вдруг легла на сердце. Рванул ворот рубахи, глухо застонал. – Эх, сын, сын...

– Дружок, Михаля, что, тяжело? – предупреждающий голос Карпа. – С похмелья так бывает.

– Бывает... – прохрипел Михаля.

– На пол-литра у меня есть. Приготовил было на другое дело, но раз уж тебе тяжело.

– Михаля! – взмолилась Катерина, но он твердой рукой отстранил ее.

– Не тебе соваться в мужские дела!

## МИКЛАЙ КАЗАКОВ

(1918 – 1989)

Родился в с. Кутюк-Кинерь (ныне Моркинского района Республики Марий Эл) в семье крестьянина. Творчество народного поэта Марийской АССР Миклая Казакова является национальной гордостью народа мари. Его стихи о поэтах братских народов – не просто портреты-зарисовки, а углубленные раздумья о судьбе поэзии, назначении художественного слова. Еще в начале 50-х гг. А. Фадеев в своих «Заметках о литературе» подчеркнул, что в современной советской многонациональной поэзии наряду с видными деятелями старшего поколения теперь все большую роль начинает играть поколение, выросшее в огне великой войны, и такие поэты, как Миклай Казаков и его талантливые сверстники, во многом определяют состояние поэзии в наши дни.

### Я иду по столице

Я иду по столице, я снова и снова  
Весь охвачен сияньем московского дня, –  
Москвичи понимают меня с полуслова,  
Москвичи принимают как брата меня.  
Мне рассказывал прадед, как, полон заботы,  
Он бродил по Москве, поднимаясь чуть свет,  
И когда его кто-нибудь спрашивал: – Кто ты?  
– Черемис, инородец! – он молвил в ответ.  
«Инородец!» Я слова страшнее не знаю,  
В нём растоптаны были людские права...  
Как мне дышится вольно, столица родная,  
Как легко мне с тобою сегодня, Москва!  
Я иду по Москве, москвичи мне навстречу,  
Наши думы едины, и путь наш един.  
– Кто ты? – спросят меня, и тогда я отвечу:  
– Я – мариец, Советской страны гражданин!

## ВАЛЕНТИН КОЛУМБ

(1935 – 1974)

Родился в д. Мизинер Моркинского района (ныне Республика Марий Эл) в семье марийского колхозника Христофора Колумба. Свою необычную фамилию отец поэта получил от сельского учителя, ревностного поклонника истории географических открытий. Первый сборник стихов Колумба под названием «Будем знакомы» вышел в 1959 г. Произведения, собранные там, отличаются своеобразием поэтического видения мира, смелой образностью, интересной оценкой жизненного материала. Проблема человека и природы в творчестве поэта переплелась с проблемой гуманизма и нравственных ценностей современного человека.

### Рождение марийской вышивки

Лежу под слоem теплого тумана,  
Лежу и грежу на рассвете дня,  
Как-будто в чрево древнего кургана  
Зарыли соплеменники меня.  
Но молодую жизнью пышут щеки,  
Не разберешь,  
Где сказки, а где быль,  
И солнце, словно археолог щеткой,  
С меня счищает вековую пыль.  
Туман моих воспоминаний редок,  
Вот я уже не мертвый,  
А живой,  
И будто я – не я,  
А дальний предок,  
Марийец древний,  
Прародитель мой.  
Он в битвах был упорен и отважен,  
Он за народ сражался до конца,  
Горел узор огнем из медных бляшек  
На кожаной рубахе у бойца.  
Враги его держали в черном теле,  
Но все же обезличить не смогли.  
С доспехов искры жаркие летели,

На белый холст узорами легли.  
С лихой бедою  
Сердцу не смириться.  
Знать, потому и в самый черный час  
За те рубахи  
«Белые марийцы»  
Соседи наши называли нас.  
И так,  
Как семицветны наши зори,  
Когда под утро петухи кричат,  
Так семицветны вышивок узоры  
На тувыхах и шовыхах\* девчат.  
Ты по селу пройдишь  
Базарной ранью,  
Где гомонит веселая толпа,  
Написана на ней  
Крестом и гладью  
Нелегкая народная судьба.  
Родной узор  
Неповторим и вечен,  
И дороги сегодня нам вдвойне  
Наплечники червленые,  
Как венчики,  
Два солнца –  
На груди и на спине.  
Любой стежок здесь к месту,  
Все так точно,  
Деталь и совершенна,  
И мудра.  
От вышивки такой  
Светло и ночью.  
Да, толь была на выдумки хитра.  
О женщины марийские!  
Как славно  
Расшито вами жизни полотно.

---

\* тувыр – рубашка, шовыр – марийская верхняя национальная одежда, обычно вышитые узорами.

Писать мы научились  
Так недавно,  
А вышивать умели как давно.  
Во всем намек,  
Во всем урок поэту,  
Сама история –  
Смотри и не дыши.  
Да разве лишь ракета  
Есть примета  
Полета человеческой души?  
Не вымучено это чудо  
И не выжато,  
Оно смеется,  
Говорит всерьез.  
Вглядитесь в естество  
Марийской вышивки –  
Медвяный запах ударяет в нос.

*Перевод В. Кострова*

## **НИКАНДР ЛЕКАЙН**

(1907 – 1960)

Родился в д. Кучко-Памаш Моркинского района Республики Марий Эл в крестьянской семье. Свою литературную деятельность начал в 1927 г. с создания очерков о жизни марийской деревни. Первыми художественными произведениями писателя стали рассказы «Настий» (1929) и «Пакет» (1930), опубликованные на страницах журнала «У вий». В те же годы он написал повесть «Восемь жен», где поднимал проблемы морального характера. В дальнейшем Н. Лекайн приступил к работе над произведениями крупного жанра. Награжден двумя медалями «За отвагу». Его трудовой подвиг отмечен медалью «За трудовую доблесть». Неоднократно награждался Почетными грамотами Президиума Верховного Совета МАССР. В 1957 г. ему, первому среди марийских писателей, было присвоено почетное звание «Народный писатель МАССР». Никандр Лекайн в Союзе писателей СССР состоял с 1940 г.

**Земля предков**  
*Отрывок из повести*

**Глава третья**

Земский начальник Варлам Карпович Орлов жил в двух-этажном доме у въезда в село. В верхнем этаже помещалась его квартира, в нижнем – контора.

Варлам Карпович скучал. Он сидел за маленьким ломберным столом и, шелкая колодой, тасовал карты.

– Луша, поди-ка сюда! – позвал он жену.

Пожилая, начинающая полнеть женщина – его жена Лукерья Серафимовна подошла к столику, села на стул напротив мужа и спросила:

– Чего тебе?

– Угадай, какая карта? – Варлам Карпович вынул из колоды карту и положил ее на стол крапом вверх.

– Король.

– Ан нет! Не угадала! Это – туз. А эта какая?

– Туз.

– Не туз, а дама.

После того как жена не угадала еще несколько карт, Варлам Карпович предложил:

– Теперь загадывай сама, а я достану из колоды ту карту, какую ты назовешь. Достану правильно – ты ставишь мне чарку водки...

– А если неправильно?

– Если неправильно, – Орлов лукаво подмигнул, – будет тебе сюрприз.

Земский начальник перетасовал карты.

– Ну ладно, – согласилась Лукерья Серафимовна. – Посмотрим, что за сюрприз ты приготовил. Дай мне червонного короля.

Орлов шелкнул колодой и вытащил карту.

– Вот тебе червонный король! С тебя чарка водки.

– Это случайность. Давай еще раз. Крестовый валет.

– Пожалуйста! – и Варлам Карпович выложил на стол крестового валета.

– Вытащи мне пиковую шестерку.

Земский выкинул на стол пиковую шестерку и радостно воскликнул:

– Вот она! Три чарки!

– Пусть будет три чарки, – улыбнулась Лукерья Серафимовна и, поднявшись со стула, вышла в другую комнату.

Она открыла дверцы буфета и вдруг удивленно воскликнула:

– Варлам Карпович, что это такое? Это ты сделал?

На полке стояли два глиняных человечка: мужчина и женщина.

Запахивая незастегнутый халат, к ней подошел Варлам Карпович.

– Это и есть сюрприз! Ловко сделано?

Жена расхохоталась.

– Выдумщик ты! Но где же ты глину взял?

– На прошлой неделе печник ремонтировал печку, я и припас.

– И не поленился...

– Ха-ха-ха! Нравится?

Лукерья Серафимовна взяла одну фигурку, повертела в руках, осмотрела и с улыбкой поставила обратно на полку.

– Глупый ты, люди увидят, смеяться над тобой будут.

– А мы никому не покажем. Только сами будем любоваться.

В комнату вбежала прислуга и сказала:

– Исаак Яковлевич пожаловали!

– Проси, – ответил земский, – пусть подождет, я переоденусь.

В сюртуке, при галстуке, земский имел очень представительный вид. Расправив грудь, он широким жестом приветствовал гостя:

– Покорнейше прошу садиться, Исаак Яковлевич.

Становой пристав Исаак Яковлевич Комелин щелкнул каблуками и козырнул.

– Садитесь, Исаак Яковлевич, садитесь.

Становой пристав, опускаясь в кресло, искоса взглянул на лежащие на столе карты. Варлам Карпович перехватил его взгляд.

– Может, сыграем, Исаак Яковлевич? Для препровождения времени, – предложил земский.

– В преферанс?

– Можно в преферанс.

– С вами играть-то опасно, – усмехнулся пристав, – ведь вы, Варлам Карпович, в этом деле большой мастер...

Земский действительно в карточной игре, что называется, собаку съел. Он пристрастился к картам еще в юности, когда

учился в Петербурге. Он был сыном помещика, у которого было имение возле Торжка, регулярно присылал сыну некоторую сумму денег, чтобы тот без забот мог окончить курс наук. А сын, вместо того чтобы учиться, весело проводил время, пил, играл в карты и тогда-то освоил некоторые недозволенные, но приносящие выигрыш приемы игры. После смерти отца Варлам Карпович стал жить на широкую ногу и вскоре разорился. Пришлось продать имение. Он долго ездил по разным губерниям, сменил много мест и должностей, наконец судьба привела его в Царевококшайский уезд. Здесь с помощью старинных друзей отца он устроился на должность земского начальника.

А карточная игра так и осталась его главной страстью. Пристав знает, что земский начальник играет нечисто, поэтому никогда не садится с ним играть.

— Варлам Карпович, — сказал пристав, — я пришел к вам не для того, чтобы играть в карты. Дело в том, что крестьяне Кожерьяльской общины прогнали хуторян, как бы возмущение не перекинулось дальше, как было в девятьсот пятом году.

— Но ведь их главарь, этот кузнец Зорин, в ваших руках. И смутьяны из других деревень тоже арестованы. Так что, по моему, ваше опасение напрасно, Исаак Яковлевич.

— Арестованы-то арестованы, да... — тут пристав запнулся и глубоко вздохнул.

— Что «да»? Мы пока подержим их в холодной, я тем временем займусь хуторами. А потом, когда дело будет сделано, вы даже можете их выпустить, если за ними обнаружится никакой другой вины.

— Мужиков можно выпустить, а вот Зорина надо бы подержать. Земский начальник рассмеялся:

— Да держите, сколько хотите, хоть пять лет. Это в ваших руках.

Пока земский и пристав разговаривали, Лукерья Серафимовна распорядилась, чтобы кухарка накрыла стол, и, когда угощение было готово, пригласила мужа с гостем откусать.

За столом разговор продолжался.

— Хорош коньяк, — сказал пристав, выпив рюмку.

— Здесь такого не найдешь, из Казани привез, — ответил хозяин. — Нарочно ездил.

– Любите вы похвастать, – засмеялся становой. – А скажите, сколько вы расформировали общин и сколько хуторов учредили?

Теперь вздохнул Варлам Карпович:

– Мало... С вашей помощью, надеюсь, дела пойдут успешнее. В случае чего, мы можем войска вызвать.

– Понимаю, понимаю... Трудности, конечно, большие.

Становой поднялся и стал прощаться.

– Может, все-таки сыграем? – взялся земский опять за карты.

– Нет, нет, благодарю за угощение.

Пристав ушел.

– Ну, шельма, никак его не уговоришь, а денежки у него водятся, – сказал Варлам Карпович.

– Хитрый человек, – подтвердила Лукерья Серафимовна.

– И не таких хитрецов обыгрывали, – похвалился земский и с сожалением положил колоду обратно на стол.

– Варлам Карпович, там мужики пришли, вас спрашивают, – заглянув в комнату, сказала прислуга.

– Какие мужики?

– Марийцы какие-то.

– Пусть войдут.

В комнату, озираясь и комкая в руках шапки, вошли три кожерьяльца: дед Лазыр, Ондри Япык и Сопром Епрем. Они сперва низко поклонились, потом бухнулись в ноги.

– Отец наш, благодетель, умолять тебя пришли, – в один голос заговорили они.

– Бунтуете, а просить идете! – прикрикнул на них Варлам Карпович. – Вот я всех вас прикажу посадить в тюрьму!

Мужики ошеломленно замерли.

«Ведь посадит, как пить дать, посадит», – подумал Сопром Епрем. Дрожащей рукой толкает он деда Япыка и шепчет:

– Говори, дядя Япык, говори, ты на язык востер.

– Будь отцом родным, Варлам Карпович, – заговорил дед Япык. – Пожалей наших жен и детей. Не бунтари мы, а пришли мы просить тебя... – Дед Япык на миг запнулся, кашлянул, достал из-за пазухи сверток, завернутый в чистую тряпицу. – Вот подарочек небольшой принесли. Прими и пожалей нас. Ведь земля-то на Шалинском бугре искони наша. Когда там еще лес был, наша деревня в нем скотину пасла. Потому казна и верну-

ла нам его в шестом году. Будь справедлив и милостив, прикажи ту землю отдать нам, а не лапсолинцам. Лапсолинцы в наши края позже пришли, а исконные-то жители мы, кожерьяльцы...

– Вы входите в одну общину с Лап-солой? – спросил земский.

– Ваше благородие, прежде-то у нас были деревни Кожерьял, Энгер-сола вовсе не было. Бог свидетель, наша должна быть земля на Шалинском бугре. Мы сами туда на хутора выйдем. Если поможешь нам, мы и впредь тебя не забудем нашей благодарностью... Будь милостив, помоги, Варлам Карпович...

Земский слушает, сохраняя на лице сердитое выражение. А Япык говорит-разливается, и жалуется, и благодарность сулит.

Как только он умолк, дед Лазыр с Епремом затагнули, словно слепцы на паперти:

– Будь милостив, Варлам Карпович, помоги нам. Господь наградит тебя за доброту... Прими наш подарочек...

– Нет, нет, – принялся отнекиваться земский, но после долгих уговоров смиловился и взял сверток.

– Ладно, – сказал он. – Подарок считаю, вы принесли мне из уважения и любви. А насчет земли на Шалинском угре скажу вам: земля та не общинная, а казенная.

Слова эти как громом поразили кожерьяльцев, они недоуменно переглянулись между собой.

– Ваше благородие, господин земский, – неуверенно произнес дед Лазыр, – землемер так не говорит. Он говорит – это земля общинная...

– Кто старше: землемер или я? – повысил голос Варлам Карпович. – Я распоряжаюсь землей, а не землемер. Вы Шалинский бугор в аренду сдавали? Сдавали. Теперь срок аренды вышел? Вышел. Значит, теперь земля ничья, казенная. Поэтому мы ее отдаем желающим выйти из хутора. Лапсолинцы решили выйти из хутора, вот мы определили им эту землю. Найдутся у вас желающие, дадим землю и им.

– Ваше благородие, Варлам Карпович, мы и просим землю под хутора. Только отдавать лапсолинцам нашу землю никак не согласны.

– Можно этот Шалинский бугор поделить между вами и ими.

– Прикажи, Варлам Карпович, всю землю отдать нам, – просит дед Лазыр.

– Нельзя делить, – вступи в разговор Епрем. – Деревня будет расти, где тогда возьмем землю на выдел?

Земский мочит. Он облокотился на колено, подпер лоб ладонью – думает.

– Ладно, – сказал он наконец, – я сам приеду в вашу общину. Считайте, дело решенное. Теперь вот что: есть у вас в деревне кузнец Василий Зорин.

– Есть, есть, – закивал головой староста.

– Так вот, что это за человек? Что вы знаете про него?

– Становой тоже про него спрашивал. Велел прийти к нему. После тебя пойдем в участок.

– Ну, тогда ладно, идите, – сказал Варлам Карпович. – Ждите меня, через несколько дней буду в вашей деревне.

Когда мужики ушли, Варлам Карпович, потирая пухлые руки, принялся считать принесенные ими деньги, складывая десятки к десяткам, пятерки к пятеркам, трешницы к трешницам, рубли к рублям. Было тут немного мелочи: видать, собирали и из последних...

– Ну и жох ты, Варлам Карпович, одну землю продал двум деревням, – не то с восхищением, не то с беспокойством сказала Лукерья Серафимовна. – С одного зайца две шкуры дерешь.

Земский повернулся к жене, усмехнулся:

– Ничего не поделаешь, дорогая, нельзя же не воспользоваться случаем. Когда туча прошла, дождя не жди, пока есть возможность – не зевай. Такая удача не каждый день бывает. А коли найдется третий покупатель, продам и ему.

Земский вновь принялся считать деньги.

– А если начальство повыше тебя узнает?

– Фью-фью, – присвистнул Варлам Карпович. – Чего испугалась! Знаешь старую поговорку: ворон ворону глаз не выклюнет? Один, два, три, четыре, пять... Двадцать гривенников – два рубля... Скупой народ эти черемисы, леший их побери. Монеты старые, небось лет десять в кубышке лежали. Один, два, три, четыре...

Его занятие прервала еще раз вошедшая прислуга. Она сказала, что опять пришли марийцы.

– Чего они вернулись? – рассердился земский.

– Не они, другие пришли.

– Ладно, скажи, я сейчас к ним выйду. Эти черемисы, леший их побери, видать, теперь и вздохнуть не дадут.

Варлам Карпович, не досчитав, сгрэб деньги в одну кучу и пошел в переднюю.

На этот раз это были лапсолинцы. Они так же, как и кожерьяльцы, упали на колени.

– Так-с, что вам надо? – сурово глядя исподлобья на мужиков, спросил земский начальник. – Я же отвел вам землю, какую вы хотели, прислал пятерых урядников защищать вас. Что вам еще надо?

– Помоги, отец родной! Проклятые кожерьяльские не дадут землю засеять, прогонят нас. Их вон сколько! Ты один в силах окоротить их. Мы тебя благодарностью не забудем, против прежнего еще дадим.

Варлам Карпович немного покочевряжился, но, когда увидел в руках одного из мужиков сверток, по внешнему виду которого можно было догадаться, что в нем завернуты деньги, сказал:

– Ну что ж, придется помочь вам еще разок. На днях я самолично приеду к вам и все улажу.

Выпроводив марийцев, Варлам Карпович вернулся в комнату в самом веселом расположении духа.

– Вот, на! – смеясь, он кинул на стол сверток. Сверток развернулся, одна серебряная монета, выкатившись, упала на пол.

Варлам Карпович наклонился над ней.

– Орел! Посмотри-ка, дорогая, орел! Добрый знак: значит, и впредь будет нам удача!

Становой допрашивал кожерьяльцев, вызывая их по одному в кабинет. Полицейский позвал деда Лазыра.

Староста, еще только переступив порог, поклонился, перекрестился, погладил свой голый подбородок.

Комелин уже не первый день занимался расследованием дела по столкновению лап-солинских хуторян с кожерьяльцами. Сразу же после ареста Зорина он допрашивал Эчана, но тот, несмотря ни на какие запугиванья, отказался открыть, кто его научил поднять деревню.

– Я сам, я сам, – твердил он. – Кузнец тут не при чем.

Потом пристав говорил с дедом Лазыром. Староста обещал следить за Эчаном, разузнавать все о Василии и, что узнает, доносить Комелину.

– Садись, – кивнул становой пристав деду Лазыру на стул возле стола, за которым он сидел сам

Староста присел, положил шляпу на краешек стола.

– Ну, с чем явился? Узнал что-нибудь?

– Узнал, да немного, – вздохнул дед Лазыр. – Говорят, у кузнеца бывал один чужой человек. Мне об этом сказала Епремиха – жена Епрема Сопромыча, а она слыхала о том чужом человеке от Кыстинчихи. Только и Кыстинчиха сама его не видела, а видела его супруга Япыка Ондрейыча. Я, конечно, живой ногой к ней. Она и говорит: «Да, видела. Приходил к кузнецу один русский, заводской».

– Гм, это становится интересно. Значит, говоришь, заводской, русский. А с какого завода, не знаешь? Из Казани?

– Нет, ваше благородие, не из Казани. Из соседней деревни, полторы версты от нас, Старый Завод называется. Мужика такой фамилия Шадрин. Он у вас в холодной сидит.

– Сидит такой, – подтвердил становой. – Ты вот что скажи: и часто ходил это Шадрин в кузницу к Зорину?

– Частенько заглядывал.

– Так, так...

– Не он один ходил. И Свистунов из Энгер-солы ходил, и Абдулла из Иск-аула, и еще Танила из Лап-солы. Они сейчас вас там же, где и кузнец.

– Ну ладно. А о чем они в кузнице говорили?

Дед Лазыр почесал в затылке.

– Да как сказать, про всякое...

– Что-нибудь против закона от четырнадцатого июня не говорили? Господ не ругали? Может, какую партию поминали или о революции толковали?

– Конечно, ваше благородие, и против закона, и против господ говорили... Он ведь тот, как его... нибла... Забыл слово, как это он называется...

– Это мы и без тебя знаем, что неблагонадежный. Ты рассказывай, что он у вас в деревне делал, какие разговоры с мужиками вел.

Лазыр молчит. Взял шапку со стола, мнет в руках, что сказать, не знает. И никаких поступков за кузнецом не водилось, и разговоров никаких таких он не слыхал. Когда посоветовал уряднику аре-

ствовать кузнеца, то думал: арестуют, увезут – и вся недолга. А тут, оказывается, вон какую заботу сам себе накликал...

– Я тебе, ваше благородие, нынче сказать про то ничего не могу, – тихо говорит дед Лазыр. – В другой раз скажу.

Становому такой поворот разговора не понравился. Он встал со стула и, заложив руки за спину, стал вышагивать по кабинету. Кабинет маленький, тесный, а он вышагивает и молчит, время от времени с неодобрением поглядывая на деда Лазыра. У того душа уходит в пятки.

– С Александром Пекшиевым ты разговаривал?

– Это с Эчаном-то? Говорил, говорил с ним, ваше благородие. Еще в прошлый раз, как были у тебя, говорил. Домой шли, так я все с ним говорил, выпытывал. Молчит он, не рассказывает. Он такой, если и знает, то не скажет. А теперь, как услышит, что мы на хутора выходим, и подавно ничего не выведешь.

Комелин сел за стол и, постукивая пальцами по столу, задумчиво проговорил:

– Суматоху поднял, конечно, Пекшиев, и народ созвал он. Но трудно предположить, чтобы он сам, своим умом, додумался до этого. Конечно, за ним кто-то стоит. И это кто-то, конечно Зорин.

Комелин даже готов отдать должное уму этого кузнеца: он сумел отыскать для осуществления своих замыслов самого подходящего человека в деревне. Пожалуй, никто бы, кроме Эчана, и не согласился на его уговоры.

Мужика, у которого есть земля и какое-никакое свое хозяйство, расшевелить трудно. Он никогда не пойдет вот так драть глотку. Или взять пожилого семейного бедняка: хоть у него и хозяйство развалилось, и земли мало, нет ни лошади, ни скота, дети голодают, но и он бунтовать не станет. Побойтся ареста, потому что знает: если его тюрьму посадят, семье еще хуже придется. А у Эчана ничего нет – ни земли, ни жены, не детей, такой может на все решиться. Сейчас он за землю старается. Надо бы этого парня отобрать у Зорина и переманить на свою сторону.

– Значит Пекшиев хочет получить земельный надел?

– Так, так, – подтвердил староста.

– Тогда вот что: надо выделить ему землю. Возьмите его на хутор и отведите участок где-нибудь на краю. Сделать это нетрудно. Получит землю – и все расскажет, ум у парня незрелый, его можно повернуть в любую сторону. Только говори с ним ласково.

– Ласково так ласково, это можно, – сказал староста.

– Так и делай. Понял?

– Понял.

После деда Лазыра становой допрашивал Ондри Япыка и Сопрома Епрема. Но и они ничего интересующего пристава сказать не могли. Им тоже Комелин велел обратить внимание на Эчана и привлечь его на свою сторону.

Затем становой пристав вызвал урядника Самсон Узакова.

– Зря ты взял кузнеца Зорина, – упрекнул становой урядника. – Материала на него никакого нет, обвинить его не в чем. Не следовало бы спешить с арестом. Мужиков забрал – и хватит. Мы бы их прижали, они сами бы рассказали, кто их мутил и что за человек этот кузнец. Ну ладно, делано сделано, и следствие все равно надо довести до конца. Поезжай в Кожерьял, собери сведения о Зорине. Староста тамошний тебе поможет.

– Рад стараться! – вытянулся урядник.

## ИПАЙ ОЛЫК

(1912 – 1937)

Литературную деятельность начал в 1928 г. стихами о новой деревне. Он автор десяти книг, стихов и поэм. В его переводе вышли избранные сборники Н. Некрасова и В. Маяковского, в 1935–1936 гг. написал первую книгу романа в стихах «Жизнь». Ипай Олык разработал силлаботоническое стихосложение в марийской поэзии, собирал фольклор. Как приглашенный гость участвовал в работе Первого съезда писателей СССР, член Союза писателей с 1934 г. Арестован летом 1937 г., осужден тройкой осенью того же года к высшей мере наказания. 10 ноября 1937 г. расстрелян.

### Мужик и волк

*Сказка*

Сев поближе к жаркой печке  
Прясть извечную кудель,  
Сколько бабушка, бывало,  
Скажет сказок под метель!  
Я одну из них, наверно,

В сердце с той поры ношу.  
Вот что бабушка однажды  
Рассказала малышу:  
– Жил-был дед на белом свете  
Со старухой своей.  
Шесть овец держал в повети –  
Ближе к дому всё целей.  
А в сенях лежал, как надо,  
Рыжий песик, страж ночной,  
Чтоб шумел на всю ограду –  
Мало ль ночью гость какой?!  
Так тянулись дни за днями,  
Осень зиму привела –  
Воет ветер над полями,  
Вся земля белым-бела.  
Как-то за полночь сторожко  
Шасть к избе задами волк!  
Пес – рычать, а тот – к окошку  
И такую песнь завел:  
«Шесть овечек спят в клетушке,  
Рыжий песик спит в сенях,  
Дед в избушке при старушке  
Спит: шлич-плич, кыр-гыр, гыр-гыр ... »  
Дед спустился тихо с печки,  
Растолкал жену, шепча:  
– Может, дать ему овечку?  
Б-больно песня хороша...  
Соглашается старушка:  
Мужику, мол, лучше знать.  
Волк довольный прыг в клетушку –  
И овечек стало пять ...  
А назавтра, темной ночью  
Вновь залаял рыжий пес,  
И опять завыл по-волчьи  
Под окном неожиданный гость:  
«Пять овец в твоей клетушке,  
Рыжий песик спит в сенях,  
Сам в избушке при старушке

Спишь: шлич-плич, кыр-гыр, гыр-гыр ...»  
Снова дед спустился с печки  
И к жене, едва дыша:  
– Отдадим еще овечку –  
П-право, песня хороша...  
Согласилась вновь старушка.  
Волк ушел с добычей в лес.  
И не пять уже в клетушке,  
А лишь четверо овец.  
Но прошли четыре ночи –  
Опустел овечий дом.  
Только волк забыть не хочет  
Волчью тропку под окном.  
И когда проклюнул месяц  
Облаков кафтан худой,  
Над деревней с неба свесясь,  
Он увидел вид такой:  
Во дворе пустом и снежном,  
Хоть мороз трещит кругом,  
Волк поет себе, как прежде,  
Сев у деда под окном:  
«Нет в повести ни овечки,  
Рыжий песик есть в сенях,  
При старушке спит на печке  
Старичок: шлич-плич, кыр-гыр... »  
– Знать, жена, и впрямь без толку  
Пса кормить – пуста повесть.  
Отдадим собачку волку –  
Слышишь, как умеет петь?..  
Молвит бабка:  
– Знать, судьбина  
(Что перечить старику!) ...  
Волк закинул пса на спину –  
И прямехонько к леску.  
А старик присел к оконцу  
И сидит, глядит во тьму:  
«Завтра волк опять вернется,  
Что ж я завтра дам ему?»

Новый день склонился к ночи,  
Ночь морозная ясна.  
Снова слышен голос волчий  
Возле дедова окна:  
«Ни в сенях и ни в клетушке –  
Ни собачки, ни овец,  
Спят одни в своей избушке  
Бабка с дедом: шлич-плич, кыр...»  
– Ах, старуха, что за мастер...  
Глянь в окно – кто к нам пришел!  
Да открой окно-то настезь –  
Ну, какой же это волк!  
Только выглянула бабка –  
Как он зыркнет, гость ночной!  
А старик ее в охапку –  
И в окно своей рукой...  
Бросил бабку волк на спину  
И рысцой скорее в лес!  
Вот и бабки нет. Отныне  
Одинок старик, как перст...  
Минул день, подходит вечер.  
«Что как снова волк придет?»  
Залезает дед на печку,  
Закрывает ступой вход.  
И ни жив, ни мертв. До ночи  
Там лежит себе молчком.  
Чу, и вправду голос волчий!  
Волк сидит перед окном:  
«Ни собачки, ни старушки,  
Ни овечки – дом пустой.  
Лишь один старик в избушке  
Притаился: шлич-плич, кыр...»  
Спел – ни звука за окошком.  
Волк в избушку. К печке волк  
Водит носом волк сторожо,  
А зубами щелк да щелк:  
«Ни собачки, ни овечки,  
Ни старушки – никого!

Лишь один старик на печке:  
Шлич-плич, кыр-гыр-гыр, гыр-гыр...»  
Тут старик, не медля долго,  
Ступу вниз ногою толк –  
И не слышно стало волка,  
И умолк навеки волк!

\* \* \*

Сказка вся –  
Клади в мешок,  
А мешок –  
Под бочок.

## **МИКЛАЙ РЫБАКОВ**

(1932 – 2004)

Родился в д. Березники Волжского района Марийкой АССР. Драматургической деятельностью начал заниматься в 1960 г., написав пьесу «Сыновья», посвященную колхозной жизни. Наиболее значительное произведение М. Рыбакова – драматическая трилогия «Солдатка», «Хлеб», «Онтон», показывающая жизнь марийской деревни с периода Великой Отечественной войны до наших дней. Его пьеса «Морко сем» с успехом идет на сцене Маргостеатра имени М. Шкетана. Спектаклю присуждена Государственная премия МАССР за 1978 г. Драматург М. Рыбаков пишет произведения и для театральной самодеятельности. Им создано около десятка одноактных пьес.

### **Моркинские напевы**

*Отрывок из пьесы*

30-летию Великой победы посвящается.

Автор

#### **Действующие лица**

Стапан Микале – деревенский гармонист.

Стапан – его отец.

Кропиня – мать Микале.

Манюк – любимая девушка Микале.

Проскови – мать Манюк.  
Верук – подруга Манюк.  
Ляпай Йыван – бригадир, потом председатель колхоза.  
Дед Прокоп – дядя Йывана.  
Овокля – одинокая молодящаяся женщина.  
Прохоренко – командир ботальона на фронте.  
Алексей Шалагин – старшина.  
Анатолий Павлов – фронтовой товарищ Микале.  
Первая девушка  
Вторая девушка  
Хирург госпиталя  
Галя – няня в доме инвалидов войны.  
Гауптман – немецкий офицер.  
Обер – лейтенант  
Ефрейтор Шульц

В массовых сценах заняты парни и девушки из села Акпарс, фронтовики, медицинский персонал госпиталя, немецкие солдаты.

Действие происходит в 1941-45 годах.

## ПРОЛОГ

Открывается занавес. На сцену не спеша, опираясь на трость, выходит Микале. На нем праздничный костюм. Черные очки придают его лицу суровый вид.

Микале *(в зрительный зал)*. Вот и снова пришла весна... Зеленеют травы, и всеми красками радуют цветы... Вокруг медвяный аромат... Прекрасная пора!.. Весной чувствую себя мо- ложе, совсем молодым... А разве я стар? Нет, солдаты не старе- ют, даже те у которых голова покрылась сединой. Сердцем сво- им они все еще там, на фронте, когда мы были молодыми и встретились лицом к лицу с врагом, посягнувшим на наше сча- стье и жизнь, на нашу Родину... *(Снял очки и теперь видно, что он слепой)*. Весна вызвала во мне прошлое... Мне чудиться, что все это было не со мной... Нет, было, было!.. И я вижу, все вижу своим сердцем, памятью своей...

Затемнение

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

### Картина первая

Полянка на лугу. Заросли кустарника. Горит костер.

Вокруг него группа девушек и парней.

Тихая летняя ночь. Слышится трель соловья, перебиваемая стрекотом коростеля. Иногда доносится всхрапывание пасущихся вблизи лошадей.

Микале играет на гармонии, парни и девушки подпевают. Это популярная здесь песня «Моркинские напевы».

Луга Элнета – буйных трав ковер

Раскинулся страной привольной.

Земля мари, как радуешь ты взор,

И как богата песнею застольной.

Припев:

Заводите песню чтоб ласкала душу,

Чтоб в родных полесьях счет вела кукушка.

Заводите песню, что еще не спета,

Чтоб она вливалась в серебро Элнета.

Пусть ты не станешь гордостью земли,

Родным не принесешь известность...

Но слушайся, а может быть, и ты

Достоин, чтоб владеть моркинской песней.

Припев:

Заводите песню, чтоб ласкала душу,

Чтоб в родных полесьях счет вела кукушка.

Заводите песню, что еще не спета,

Чтоб она вливалась в серебро Элнета.

Из-за куста появляется бригадир колхоза Ляпай Йыван, в руках у него портфель.

Йыван. Какая песня!.. Так бы и слушал всю ночь.

Голоса. Ну и спой с нами...

– Садись, дядя Йыван!

– В ногах правды нет...

Йыван. Рад бы петь, да времени маловато. Придется, ребята, и вашу песню малость сократить...

Голоса. Что такое? Совсем не сочувствуешь молодым, а ведь и сам не старый.

– Зачем наше веселье прерываешь?

Йыван. Ничего не поделаешь, работа такая.

Микале (*наперекор бригадиру, речитативом*).

Мы советуем всем миром –

Стань Йывановой женой,

Лучше нету бригадира

В нашей стороне родной.

Йыван. Девчата, ребята, вы на ночное приехали, чтобы петь и плясать под гармонь Микале?

Манюк (*выступая вперед, с вызовом*). А мы, дядя Йыван, и табун сторожим, и поем и пляшем.

Йыван. Петь и плясать вы мастера... Хватит дурачиться, Микале. Лошади ваши забрели на Провойские луга, топчут травы. Надо их прогнать. Берите головешки.

Несколько парней встают и идут с головешками в темноту. За Микале устремляются девушки.

Йыван (*останавливая Манюк*). Подожди, поговорить надо.

Манюк (*пытаясь уйти*). Я от своих отстану.

Йыван. Дело к тебе важное.

Верук (*выйдя из темноты*). Манюк, идем! Слышишь, Микале уже далеко.

Йыван. Иди, Верук, своей дорогой. Не мешай важному разговору.

Верук (*насмешливо*). Какой такой важный разговор ночью? Днем времени хватит. (*К Манюк*.) Смотри, Манюк, берегись Йывана, как бы он тебя не «заговорил»...

Манюк. Я вас догоню. Слушаю тебя, Йыван...

Йыван (*заслышав гармонику*). Опять этот Микале! Неугомонный...

Манюк (*тихо смеясь*). Что замолчал! Говори, а то уйду.

Микале (*появляясь из темноты, подходит к Манюк, поёт*).

Тужишь ты, Манюк, напрасно,  
Не родился твой жених.  
Он родиться, месяц ясный,  
Будет счастье на двоих.  
Манюк *(как бы в ответ)*.  
Смейся, смейся, твоё право,  
Но тебя я проучу.  
На таких, как ты лукавых,  
И смотреть я не хочу.

Микале, играя, пританцовывает вокруг Манюк. С лугов доносится голоса: «Микале, иди к нам!»

Микале *(как бы в отместку)*.

Ах, напрасно ты гордишься,  
Коль не хочешь. не гляди.

Мало славных гармонистов,  
А как ты – хоть пруд в пруди.

Йыван *(прерывая обоих)*. Микале, слышишь, тебя ребята зовут. Иди туда со своей гармошкой, может, волков распугаешь.

Микале. Эх, дядя Йыван, что ты понимаешь, моя гармошка не пугало... а серебряный колокольчик.

Йыван *(примирительно)*. Ладно. Не обижайся. Своим колокольчиком будешь звенеть на моей свадьбе.

Микале. Кто мне раз испортит настроение, того прошу только через три года.

Йыван. Плохое настроение у гармониста – до первой чарки.

Микале. Меня и четвертью не заманишь.

Йыван. Не хочешь – не надо. Позову из Маркова Келдывая Саню, он мне за три рубля играть будет.

Микале. Где нет соловья, там и воробей сойдет.

Йыван. Старших не почитаешь. Проваливай отсюда! Распустился!

Манюк *(с любопытством наблюдавшая их перепалку, вмешалась)*. Йыван, Микале, перестаньте! *(И ласково)*. Микале, уходи. Ты нам мешаешь.

Йыван. Вот именно. Так что не задерживайся.

Микале (*с обидой*). Ладно, уйду... (*К Йывану.*) Умный, а дураком пахнет. (*Уходит*)

Йыван (*с возмущением*). Сосунок! Еще недавно без штанов бегал, а как со взрослыми разговаривает. Надо бы его проучить.

Манюк (*игриво*). Не обижай, дядя Йыван, нашего лучшего гармониста... Так о чем ты хотел со мной говорить?

Йыван (*все еще не решаясь заговорить о главном*). Да все о нем, о Микале. Какой из него работник, один ветер в голове да частушки на языке. Не толку от него. Только других от дела отбивает.

Манюк. С ним весело, время незаметно бежит...

Йыван. Вот – вот, вьетесь вокруг него как мошकारа и за лошадами не смотрите. Надо бы на Элнецком берегу пасти, так на луга пустили траву сделали. Придется оштрафовать Микале.

Манюк. Он не виноват, это мы, девушки, пригласили его в ночное...

Йыван. Для тебя играет? Ты ему не верь. Сегодня на тебя посмотрит, завтра – на другую. Тебе нужен человек солидный.

Манюк (*шутливо*). А где он, этот солидный, что-то таких у нас не видать.

Йыван. А я? Подхожу? Ты мне давно нравишься... Правда, я постарше тебя, так не зря говорят: если полюбишь – и тебя полюбят. Надоело мне бобылем ходить.

Манюк (*хохоча*). Ой, дядя Йыван! Смешное ты говоришь.

Йыван. Не дядя, а просто – Йыван. Так и называй меня.

Манюк. Язык не поворачивается.

Йыван (*взял Манюк за руку*). Завтра приду сватать. Преду-прежду, чтобы знала.

Манюк. Дядя Йыван, я не собираюсь замуж. Хочу еще в девушках погулять, гармониста послушать. Микале больно хорошо играет и поет. Вам бы так...

Йыван (*удерживая Манюк*). Я с твоей матерью уже говорил.

Манюк (*испуганно*). И что она?

Йыван. Вроде не против породниться.

Манюк. Не против? А меня спросила? Как она будет жить одна? И приданого у меня еще нет...

Йыван. Брось думать о приданом. Старый обычай. Не приданое твое нужно, ты мне нужна. Верь, не могу я без тебя. Сердце давно тебе принадлежит. Красивая ты, так и светишься.

Манюк. А люблю ли я тебя, дядя Йыван? Спросил бы меня.

Йыван. Тьфу, опять «дядя Йыван»... Трудно что ли называть просто – Йыван?

Манюк. Видно, трудно без привычки.

Йыван. Поживешь хозяйкой – привыкнешь.

Манюк. Жить только по привычке – не то время.

Йыван. Э-э, наши предки жили и не тужили. И мы будем – не хуже других. Неужели я тебе совсем не нравлюсь? Скажи!

Манюк. Ты, Йыван, очень хороший, добрый, только не для меня...

Йыван. Понимаю, ты Микале любишь.

Манюк. Что ты, откуда взял? (*И задумчиво*). Его каждая полюбит...

Из-за кустарника выбегает запыхавшийся Микале.

Микале. Эй, бригадир, лошадь твоя подыхает. Запутался у нее на шее поводок от уздечки. Беги скорее, может, еще дышит.

Йыван. Проклятая скотина! (*Убегает*).

Микале. О каком таком «важном деле» говорил бригадир?

Манюк (*загадочно*). Сватается...

Микале (*поражен*). К тебе?

Манюк. Ко мне.

Микале. А ты?

Манюк (*подзадоривая Микале*). О – о, такой завидный жених!

Микале (*насмешливо*). Куда уж...

Манюк. Еще бы! Не тебе чета... Не легкомысленный.

Микале. Это я-то?

Манюк. Это ты-то!

Микале. За дюжиной девушек не гоняюсь... как некоторые.

Манюк. Тебе хватит того, что имеешь.

Микале. И те лишние...

Манюк. Расхвастался... Лошадь-то жива?

Микале (*шутливо*). Что ей сделается? Жива и еще сто лет проживет.

Манюк (*весело*). Обманщик, вот и верь такому...

Микале. Стало быть, сватается дядя Йыван? (*Поворачивается уйти*).

Манюк. Микале!

Микале возвращается.

Ты куда?

Микале. Я не привязанный – куда хочу, туда и иду.

Манюк. Можно и мне с тобой?

Микале. Ой-ой-ой. Вот она, девичья верность! Одного морочит, за другого взялась.

Манюк. Завтра в клуб придешь?

Микале (*задумчиво*). В клуб не приду, гармонь – пора в сундук. Без меня теперь будете веселиться.

Манюк (*испуганно*). Ой, что так? Без гармошки ты разве сможешь?

Микале. Я думал, что и без тебя не смогу... а придется. В армию мне скоро. Хочу в училище, на командира. Как думаешь – сгожусь?

Манюк (*восторженно*). Еще как! У тебя и фигура, и походка – хоть сейчас в командиры.

Микале. Признавайся – нравлюсь? Так выходи за меня!

Манюк (*подошла, склонила голову на грудь Микале*). Замуж выйти – не пирог испечь. Подумать надо...

Микале. Когда он сватов засылает?

Манюк (*игриво*). Может, тебе и день свадьбы назвать, хочешь дружкой быть?

Микале (*с издевкой*). А что? Йыван – подходящий жених. Главное – бригадир, дома будешь сидеть, носки ему вязать. Я пошел...

Манюк. погоди!

Микале (*вернувшись*). Что скажешь?

Манюк (*искренне*). Не беспокойся, за Йывана не пойду... Буду тебя из армии ждать. Сколько надо – столько и буду ждать.

Микале (*подняв Манюк и закружившись с нею*). Манюк, будь у меня крылья, понес бы тебя вон к той яркой звезде. Оттуда мы увидели бы всю землю и самое красивое место на земле. (*Бережно опускает Манюк.*)

Манюк. Где оно самое красивое?

Микале. У нас, в моркинской стороне, на элнетских лугах.

Манюк. Нет, самое красивое место на земле, где мы стоим, и самое счастливое. (*Тихо поет «Моркинские напевы».*)

Из-за кустов выбегает рассерженный Йыван.

Йыван. Ну, Микале, посчитаю я тебе ребра!

Манюк (*становясь между ними*). Не надо!..

Йыван. Лошадь мою кто-то перевязал на другое место. Я бегу спасать, а она стоит живая и травку пощипывает.

Микале. Вот чертова лошадь, сама умудрилась на другое место перебраться.

Йыван. Это твоих рук дело?

Микале (*шутливо*). Надо бы спросить.

Йыван. Кого?

Микале (*смеясь*). Мерина твоего.

Йыван (*тоже шутливо*). Молокосос! Мальчишка! Ладно...

В такой день негоже сердиться. Правда, Манюк?

Манюк (*в тон Йывану*). И я так думаю...

Йыван. Микале, вот тебе наказание: будешь играть на моей свадьбе!

Микале. Согласен! Буду играть три дня и три ночи. Пусть гремит твоя свадьба по всей моркинской стороне...

Манюк (*с иронией*). По нашему обычаю гармонисту, который играет на свадьбе, полагается подарок.

Йыван. Ладно, Манюк, дадим ему вышитое полотенце.

Манюк. Полотенце – это мало. Ему бы девушку с подвечной фатой.

Йыван. Ишь чего надумала! Такой «подарок» он получит на своей свадьбе.

Микале. Когда свою играете? Гармонисту надо знать в первую очередь.

Йыван (*горделево*). Как Манюк решит. Думаю, через неделю, до начала сенокоса. Всю округу соберем на свадьбу.

Микале (*вдруг растянув мха гармони и под ее звуки*). Эге-гей! Люди моркинские, через неделю свадьба! Готовьтесь! Собирайтесь! В сусеках муки наскребите для пирогов и блинов, варите брагу, качайте мед. В лавках купите конфет и пряников, доставайте из сундуков свои праздничные наряды... Стапан Микале затевает большую свадьбу!

Йыван. Ты что, Микале, это я затеваю свадьбу.

Микале. И у тебя свадьба? Тога две свадьбы сразу! Люди моркинские, собирайтесь! Чрез неделю две свадьбы играем!

Микале играет свадебную мелодию. Йыван удивленно смотрит на него, Манюк украдкой смеется.

Занавес

## АНАТОЛИЙ ТИМИРКАЕВ

(1952)

Родился в республике Башкортостан в д. Сазово Калтасинского района. В 1975 г. окончил Марийский педагогический институт и начал работать редактором в Марийском книжном издательстве. С 1989 г. – главный редактор журнала «Вперёд». Участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей (Москва, 1979). Делегат I и V Международных конгрессов финно-угорских писателей. Автор двух поэтических сборников на русском языке, пяти – на марийском. Перевёл на марийский язык многих поэтов финно-угорских литератур. В 1999 г. А. Тимиркаев впервые перевёл на родной язык роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин», за что было ему присвоено звание «Лауреат Государственной премии Республики Марий Эл».

### Сестренка из родника

Семерых нас мать растила,  
Не браня за кутерьму.  
Только кукол не дарила:  
Мол, мальчишкам – ни к чему.  
Говорила:  
– Не просите!  
Но однажды поутру  
Объявила:  
– Посмотрите  
Не на куклу – на сестру!  
Мы смотрели как на чудо.  
Новость всех нас потрясла.  
– Мама, мама, а откуда  
Ты сестренку принесла?  
Наклонилась мать над зыбкой,  
Что висела на шнурке,  
И ответила с улыбкой:  
– Зачерпнула в роднике.  
В тот же миг, схватив ведро,  
Мы помчались напрямик  
В той низинке у пригорка,  
Где знакомый был родник.

Неглубок он был как будто,  
Если встать на дно – по грудь.  
Но ребенка почему-то  
Не смогли мы зачерпнуть...  
Улыбаюсь, вспоминая  
Плеск воды и звон ведра.  
Ах, наивная, смешная,  
Озорная детвора!  
Обо всем ребята спросят,  
Чтобы знать наверняка.  
Пусть же чаще их приносят,  
«Зачерпнув из родника»!

## **СЕРГЕЙ ЧАВАЙН**

(1888 – 1937)

Родился в д. Малый Карамас Моркинского района Республики Марий Эл. Он имел тесную связь с издателем «марийских календарей» В.М. Васильевым и в 1908-1910 гг. в календаре печатает несколько стихотворений. В 1910 г., в соавторстве с учителем В. Ипатовым, выпускает для чтения в третьем классе марийских школ «Третью марийскую книгу», где печатает около двух десятков своих стихотворений и рассказов. Сергей Чавайн является основоположником и родоначальником марийской художественной литературы. Лучшие его произведения, как роман «Элнет», драмы «Пасека», «Акпатыр» и многие другие, составляют золотой фонд марийской литературы.

**Смело, друзья мои!**  
Смело, друзья мои, смело!  
Время не будем терять,  
Дружно восстаньте, спасите  
Милую родину-мать!  
Бьётся, как муха, отчизна.  
В петлях паучьих тенёт,  
Злобный паук её душит,  
Алую кровь её пьёт.

Смело, друзья! наших братьев  
Вырвем из вражеских рук,  
Чтобы до капли всю кровь их  
Жадный не выпил паук.  
К нам руки братьев простёрты,  
Слышится узников зов,  
Надо спешить к ним на помощь,  
Вызволить их из оков.  
Час новой жизни настанет,  
И победивший народ  
Нас помянуть добрым словом  
К нам на могилы придёт.

## МАЙОРОВ ШКЕТАН

(1898 – 1937)

Родился в д. Старое Крещено Оршанского района Марийской АССР в крестьянской семье. В середине 20-х гг. много сил и труда отдает развитию театрального искусства. Он участвует в работе Марийского драматического театра не только как драматург, но также как актер и режиссер. Литературным творчеством начал заниматься в 1919 г. Первым известным нам произведением М. Шкетана была пьеса «Лишний», которая в рукописи ставилась силами сельских драмкружков, но до нас она не дошла. Писателем создано тринадцать пьес. Большинство из них включались в репертуар театра. В начале 30-х гг. М. Шкетан написал роман «Эренгер». Вскоре за «Эренгером» писатель создает целый ряд рассказов. М. Шкетан занимался и переводческой работой.

### Борода

*Фельетон*

Непростое дело стать проводником культуры в деревне.

Старые обычаи глубоко укоренились в народе, они живучи. И чтобы их выкорчевать, надо приложить много усилий. Наш мариец с трудом вырывается из пут издревле сложившихся обычаев.

Неопытный проводник культуры, не зная своего дела, может попасть в большое затруднение, если не в тупик. Поговори с иным марийцем о его одежде.

– Зачем все время в лаптях ходишь? На лапти настанет много грязи, пыли. Вот, говоришь, ему, ты имеешь две пары сапог, почему не надеваешь их?

– А что, разве лапти плохи? Лапти, слышь, никогда нельзя браковать. В лаптях мы совершили революцию. Мы в лаптях, говорит, интервенцию разбили. Словом, лапти – исторические ценности, и ими пренебрегать нельзя.

Вот куда загигают!

Чтобы прививать культуру, надо быть очень изворотливым, пожалуй, даже дипломатом. У нас, видимо, есть кое-какие и дипломатические ухватки: мало-помалу колхозников нам удастся приобщить к культуре. Побеждаем старину-матушку.

Но когда открывали колхозную парикмахерскую – и я чуть-чуть руки не опустил. Большой переполох случился, боже упаси! А все произошло из-за бороды.

Вы и сами знаете: наш колхоз не отстающий. Не совсем, конечно, он и передовой, но не из последних, можно сказать – колхоз средний. Работа всегда идет своим чередом. И дисциплина неплохая.

Как-то прослышали, что в некоторых колхозах открывают парикмахерские. И вот колхозники заговорили об этом. Постановили, чтобы к началу весенней посевной открыть свою парикмахерскую. На собрании я сам вносил такое предложение.

– Довольно, говорю, товарищи, таскать черные клочья. Не с бородой же нам социализм строить. Давайте откроем колхозную парикмахерскую. Пора сбрить нам козлиные бородки.

Загудели.

– Борода, говорят, необходима. Но, мол, что скажет об этом наш председатель? Он тоже носит большую бороду.

А борода нашего председателя Йогор Кори, действительно, замечательная: окладистая, золотистая, густая, вроде помела.

Йогор Кори поднялся с места:

– Предложение Кавырля я поддерживаю. В самом деле, некрасиво по старинке ходить лохматым. Помещение для парик-

махерской имеем; есть большое зеркало, купленное еще на торгах. Приборы завести недолго. По-моему, и парикмахером надо поставить Каврлю: он работал в артели парикмахеров. И даже не в Йошкар-Оле, а в Москве служил.

Словом, наш председатель умеет наладить любое дело.

Колхозники не унимаются, хотят поговорить с Корием:

– А ты сам-то бороду сбреешь? Тебе тоже некрасиво смахивать на церковную старосту.

– Моя борода, – говорит Йогор Кори, – не вашим чета – аккуратная, окладистая. Мою бороду, слышь, надо пожалеть. Не будь моей бороды – я никогда не смог бы стать сознательным гражданином. Борода мне в этом помогла.

Не очень давно на всевозможных собраниях был особый почет бородачам. Крестьянин с окладистой бородой избирается в президиум, его посылают на различные съезды. Вот так и Йогор Кори выбирался со своей бородой со съезда на съезд. Сначала посиживал в президиумах и глуповато поглаживал бороду. Потом мало-помалу стал вдумываться и начал понимать. А позже побывал в Москве на съезде.

– Не будь у меня бороды, я бы и сейчас был темным. Бороду мою, слышь, надо пожалеть...

– К чему же, говорят, ее жалеть? Было время – помогла она тебе, а сейчас она ни в чём помочь тебе не может. Не жалеешь наши бороды, ну так сам первый побейся.

– Моя борода-то не чета вашим, – снова взмолился председатель. – У вас торчит какой-то клок, у меня окладистая, аккуратная, на всю грудь...

– Довольно, говорят, прятаться за окладистой бородой. Теперь не прежний режим. Сбрить!

Председатель побледнел. Начал оглядываться: не выступит ли кто из добрых колхозников в его защиту. Но нет, никому не жаль бороды Йогор Кори.

Средь шума и смеха раздаётся выкрик:

– В первую очередь сбрить бороду председателя!

– Вы, – говорит Кори, – не можете ставить на голосование мою бороду, она не общественная собственность. Неужели, товарищи, не пожалеете такой культурной бороды? Вам с клопами и

лаптями жаль расстаться, защищаете их как «исторические», а моя борода и подавно историческая; я с нею был два раза на областном съезде, однажды побывал даже на Всероссийском. Да ведь я вместе с Калининым на одну карточку снимался! А вы такую бороду ни во что не ставите. Неужели вы стали терять всякое сознание?

– Теперь не бороде почёт, – кричат, – сбрить!

Разумеется, председатель опешил.

– В таком случае я не дам помещения под парикмахерскую...

– Не можешь не дать! Тебе придётся подчиниться решению общего собрания.

Постановили: парикмахерскую открыть к 1 мая, парикмахером назначить Кавырлю.

Я действительно работал в Москве на Тверской, рядом с кинотеатром «Великий Немой» в артели парикмахеров – швейцаром. Бороду брить, конечно, мне не приходилось – у швейцара иные обязанности. Но я видел, как это делается. Бороду брить или там волосы подстригать, думаю, наука не хитрая. Ничего, смекаю, с этим делом я справлюсь.

За какую-то неделю приобрёл все необходимые для парикмахерской принадлежности, оборудовал помещение, навёл в нём порядок, повесил в простенке большое зеркало. На толике рядочком разместил одеколон и пульверизатор. Сбегал в аптеку и купил машинку.

А сам стал подумывать, как бы со стрижкой волос не ударить в грязь лицом. Брить бороду, думаю, смекалки немного надо, знай брей, пока не выбрил, а стрижка! Волосы по-всякому подстригают, тут нужно быть искусным мастером. А я, кроме детишек, никого не подстригал. А детишки что? Повыхватал лесенкой – и живёт, они не посмеют тебе указывать. Взрослого так подстригать несподручно – чего доброго, он и сам сможет с корнем повыхватать волосы на твоей голове да ещё отвесит оплеуху. Поневоле призадумался. Вот, думаю, в какое затруднение можно попасть в вопросе о кадрах! Пожалуй, было бы не лишне открыть специальные курсы парикмахеров. А то ведь колхозники нынче стали взыскательными: им чтобы подстричь хорошо да красиво... Пожалуй, оболваню первую голову, и тут же самому достанется по голове.

Время клонится к обеду. Вижу – колхозники цепочкой тянутся к парикмахерской. От такой неожиданности я даже струхнул: ну, придётся осрамиться. Из-за бороды, конечно, я не опозорюсь, бороду можно с корнями выдрать, а за стрижку опасно приниматься. Волосы с корнями выдирать не полагается: может плешь образоваться. А потом – человек не вынесет такой кары, и ему ничего не стоит сгоряча всыпать мастеру.

В парикмахерской сгрудились колхозники.

– Ну, товарищи, кто желает побрить бороду, моментально сбрею...

Дядя Семён, мужик лет 60-ти, говорит:

– Мы ещё подождём председателя. Побреет Йогор Кори свою бороду, тогда и я позволю обдирать. А он не побреется, я не дамся. Может быть, снимешь бороду, и сила убавится. Раньше, говорят, сила Иудейского царя Самсона была в бороде. А когда одна коварная женщина отрезала его бороду, Самсон тут же лишился силы...

– Ошибаешься, говорю, дядя Семен. Сила Самсона была не в бороде, а в волосах. И вот как остригли его волосы, он лишился силы...

– Это всё равно, – говорит дядя Семён, – и борода такой же волос. Вот я боюсь, побреешь, да кабы не начать стариться...

– Сила, говорю, и без бороды не убудет, а волосы, мол, действительно, немножко бодрят человека. Об этом и наука так говорит. Так что подстригаться не спешите.

– Это всё одно, – говорит дядя Семён, – борода такой же волос, и, может быть, она содержит силу. А вот если Кори побреется, то и я не пожалею – брейте мои седины.

Какого киямата, думаю, набросились на бороду председателя?

Пришёл Йогор Кори, спрашивает меня:

– Почему не приступаешь к делу?

– Тебя, мол, ждут.

– Зачем я понадобился?

– Нам, – отвечает дядя Семён, – приходится поступать, как ты. В первую очередь придётся побриться тебе.

Йогор Кори спохватился, разглаживает бороду. Вроде слезятся у него глаза, и голос стал жалобный.

– Ну, – говорит, – товарищи, выходит, очень вы завидуете моей бороде... Делайте, что угодно, говорите, что угодно, – снимайте с должности председателя, но своей исторической бороде ни при каких условиях брить не позволю. Волосы вот я для начала подстригу.

Я хотел рассказать про волосы царя Самсона, но, думаю, такими сказками Кория не обманешь.

Набралось порядочно женщин. И они накинулись на бороду председателя.

– Кори, – говорят, – ты напрасно бороду носишь, тебе лет сорок, а борода как у 100-летнего старца. Сбрить надо!

– Мне, – отвечает председатель, – не жениться, прохожу и с бородой... Давай, Кавырля, подстригай волосы!

– Садись, – говорю, – Григорий Георгиевич, коли так... Коли так, бороду твою оставим для истории... Ну, как подстричь?

– Под польку сделай.

– Ладно, сделаем под польку.

А ну, думаю, как – под польку у меня не получится?

– Может быть, – говорю, – не под польку? Может, лучше «под машинку» окатать?

– Нет уж, ты под польку подстриги.

– Ладно, коли так... Но тут столько набралось народу – кабы не сглазили. А машинкой было б лучше: машинку никак сглазить не удастся.

– Не разговаривай, говорит, стриги!

Начал стричь. Ну, думаю, что-то выйдет: то ли сделаю под польку, то ли ничего не получится. Я потею, пот каплет с меня на голову клиента.

– Ты чего это там, плюёшь, что ли, мне на голову? – спрашивает председатель.

– Сиди, – говорю, – не шевелись, а то под польку не получится. Вот видишь, ты повернулся, а я на затылке выхватил лишку...

– Знать, ты меня окончательно искромсаешь...

– Опять пошевелился, видишь – теперь плешь получилась...

Йогор Кори вскочил с кресла, перед зеркалом крутит голову, высматривая плешины.

– Вот так под польку! Какая же это «подполька»?

На затылке получилась плешина, на темени выхвачено. Ничем на «под польку» не похоже.

– Что есть хорошего в твоей «подпольке»? Давай подстригу под «ершика», моментально будешь смахивать на станового пристава!

Кори приглаживает волосы, видно, начинает сердиться.

– А не то, – говорит, – давай под «ершика». Осторожней делай.

– Ты не шевелись, сиди спокойней!

Колхозники следят за нами, переглядываются и ухмыляются... Они, конечно, готовят остроты.

Теперь я принялся делать под «ершика». Затылок так-сяк повыстриг, ничего, дело идёт. В это время меня вроде кто подтолкнул: я хватил опять лишку, в полчетверти получилась просека. Кори моментально покраснел, вскочил на ноги.

– Ты что опять делаешь? Опять испортил, что ли? Ты, видать, не парикмахер... Сейчас, говорит, я даже не шелохнулся. Зачем же ты преднамеренно вредишь?

– Ты сделал глубокий вздох. Ты вздыхаешь, а ножницы врезаются под самый корень волос...

– Чёрт, – говорит, – ты такой! В Москве служил, в парикмахерской работал, а никакой квалификации не получил, даже под «ершика» подстричь не умеешь!

– А что есть хорошего в твоём «под ёршика»? Давай ножницами «подчистую» окатаю. Моментально на генерала будешь похож. У нас на службе был один генерал: борода такая же окладистая, как у тебя, а волосы, бывало, всегда стриг «подчистую».

– Ты, видать, до кожи добираешься. Ну ладно, стриги «подчистую», а не то...

Теперь стал стричь «подчистую». Но... замечаю: не клеится. И как же получится, если делаю третий фасон?

В одном месте получается ничего, в другом – лесенка, в третьем – чуть кожу не захватываю.

– То ли ты простудился, – говорю, – то ли ещё что, но тебя что-то трясёт... Я никак не могу стричь «подчистую»: голова твоя станет похожей на спину стриженной овцы.

А колхозники смеются, они теперь начали издеваться напрямую.

– Оказывается, по-московски ловко подстригаешь!

Меня начало злить.

– Над чем смеетесь? Человека и так уж доняли, а вы ещё зубы скалите.

А Йогор Кори раскраснелся, как горячий уголь, то ли рассердился, то ли перепугался... Вижу: скулы трясутся, похоже, разозлился.

– Ты разве парикмахер?! Ты не парикмахер, а прохвост! – говорит. – Ты нарочно делаешь...

Колхозники захохотали ещё громче, подтрунивают:

– Он метит сбрить и бороду...

– Григорий Георгиевич, – говорю, – не верьте этой провокации. Давай «под машинку» поскорей выровняем. Моментально на прежнего фельдфебеля станешь смахивать.

– К чёрту твою стрижку! На кой мне твой фельдфебель сдался? Теперь окончательно изводишь мою голову! К чёрту... Стриги тогда машинкой!..

– Давно бы так надо было. Я давече же и остриг бы.

Пустил в дело машинку, стрижёт – лучше не придумаешь.

– В нашем деле тоже решающее слово принадлежит технике. Видишь, как чисто берёт! И глуп тот, кто выдумал стрижку под польку или под «ёршика». Всюду нужна техника. Техника, ну ещё кадры...

– Подстригай, – говорит председатель, – нечего рассуждать... Что-то твоя техника теребит мне волосы, – продолжает Кори, – не то кадр никуда не годится.

– Кадр-то, мол, ничего, а вот машинка не разработана: новая, не обгладилась...

Тут как-то она выскользнула из моих рук, бряхнулась об пол.

Что это, думаю, такое? Неужели подведёт меня качество изделия? Я пробую собрать и сложить развалившуюся машинку – не ладится. Один раз удалось поставить все части на свои места, но опять проклятая разъехалась. Да и винт куда-то укатился по полу. А полголовы клиента выстрижено так же гладко, как спина овцы.

– Что же ты, – спрашивает, – не собираешь свою машинку?

– Винт куда-то укатился, придётся, видно, сходить в кузницу.

– А как со стрижкой?

– Придётся пока довольствоваться этим, что сделано. Завтра достригу...

Кори взбесился, пришёл в ярость.

– Сволочь ты! Какой же ты кадр? Ты жулик, а не кадр! И в Москве, конечно жуликом был.

– Оскорбить можно всякого, а что касается работы в парикмахерской, так я действительно работал... швейцаром. А голову придётся побрить. Машинку исправить кузнец не сможет. Это, говорю, я просто так сказал.

Йогор Кори обиделся до слёз.

– Кереметь, – говорит, – ты... Где твоя бритва-то? Брей скорее!

Брить-то я мастер. Пять минут - и готово.

А тем временем говорю с Корием:

– Зря про меня говорите насчёт квалификации, квалификацию я имею, но подстригать, правда, не наловчился. А может быть, сглазили. Даже машинка не выдержала...

– Давай скорей! – говорит председатель.

Подумайте только, что получилось! Голова голая, как колечко, а борода – во всю грудь. Начали подтрунивать над ним. Кори заколебался.

– Ну, говорит, и Кавырля!.. Скажи спасибо, что не нарвался на несознательного. Раньше бы я из тебя сделал отбивные. Теперь стриги и бороду, а затем и подбреешь.

Так я его преобразил, что на второй день на первомайском торжественном заседании председатель показался мне двадцатилетним юношей.

А я теперь не только брить, но и волосы стричь научился...

*Перевод И. Нелеченко*

# МОРДОВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

## Кузьма Абрамов

(1914 – 2008)

Родился в с. Старые Найманы (Эрзя Найман) (ныне Большеберезниковского района Республики Мордовия) в семье крестьянина. Участник Великой Отечественной войны. Важным этапом на пути творческого становления писателя стали его рассказы, опубликованные в 1959-1960 гг. в периодической печати республики и изданные затем отдельными книгами («Рассказы», 1959; «Русые косы», 1961; «По Алатырю», 1962; «Хмелинка», 1962). Значителен вклад К. Абрамов в развитие национальной драматургии. К. Абрамов – член Союза писателей СССР (1949). Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны второй степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.

### Сын эрзянский

*Отрывок из романа*

#### Алатырь

Город Алатырь, как уверяют летописи, основан в тысяча пятьсот пятьдесят втором году, когда русский царь Иван Грозный шел покорять Казань. Правда, окрестная мордва знает Алатырь еще и под названием Ратор ош. Возможно, и до похода царя на Казань, на высоком берегу Суры, было какое-то мордовское селение, оттуда оно идет – Ратор ош, это второе имя города. Но как бы там ни было, к тому времени, когда в Алатыре появился четырнадцатилетний Нефедов Степан, во всем городе насчитывалось больше двадцати тысяч жителей, в основном мещане и вчерашние крестьяне, как Иван Нефедов. В городе было девять церквей и два собора, и один из них – Воздвиженский – помнил Ивана Грозного. К этому-то собору, стоящему на самом верху холма, и сбегались все многочисленные улицы города, образуя базарную площадь, которая называлась Венцом.

В будние дни эта огромная площадь бывает почти пустой, но во время ярмарок и базаров она наполняется людским морем – тогда кажется тесной и маленькой.

По краям площади стоят кирпичные лавки, длинные угрюмые лабазы, дощатые ларьки, прилавки под навесами и под от-

крытым небом. Однако во время ярмарок главная торговля идет по всей площади. Нехитрый крестьянский товар раскладывается длинными рядами прямо на земле. Продавцы стоят тут же, над своим товаром, и кто как умеет, так и зазывает покупателей. Сотни голосов, крики, визг поросят, сунутых в мешки, гогот гусей, высовывающих длинные шеи из корзин, ржание лошадей – все это оглушило Степана, и если бы Иван не держал его за руку, он бы уже потерялся в этой шевелящейся, движущейся толпе. Наконец добрались до кудельного ряда. Здесь потише, поспокойней, мужики стоят все деревенские, – в зипунах, в лаптях, в новых белых онучах по случаю праздника. Охапки кудели лежат на подстилочке из соломы.

Пристроились и Нефедовы в конце ряда.

– Придется простоять. Вишь, сколько натащили...

– Давай я постою, – предлагает Иван. – Сам иди пройдишь по ярмарке, купи, что надо.

– Наши покупки в кудели. – Дмитрий помолчал. – Хорошо бы Степану пиджак, в зипуне ходить в городе неладно будет...

– Не мешало бы и сапоги купить. В лаптях, что ли, щеголять? – усмехаясь, сказал Иван. Сам он в смазанных сапогах со скрипом, в ловкой суконной борчатке, в картузе.

– Сапоги пусть сам купит, когда заработает денег. Степан между тем никак не мог понять, почему у него так зудит под рубахой. Может, пояс крепко затянул? Он сунул под зипун руку и тут вспомнил про землю. Вот оно что, а не пояс. Но куда бы теперь деть землю? А где он будет жить, где будет его новое место?.. Голос Ивана отвлек его.

– Пойдем, братец, пройдемся по ярмарке, на людей поглядим, себя покажем. Пошли!

И они отправились – в самую гущу людскую, в самый крик и суету. Долго таскался Степан за братом, мало что видел. Наконец остановились у ларька, где в широком окошке висели парами сапоги, а между сапог, между блестящих голенищ красовалось краснощекое бритое лицо с усиками – как у Ивана. И небрежно бросает старший брат Степану:

– Ну, которые на тебя глядят?

Однако Степан почему-то не особенно и рад. Может быть, он еще и не верит, что Иван хочет купить ему сапоги? А Иван

уже ощупывает, осматривает сапоги, растягивает голяшки, костяшками пальцев стучит по подметке, чертит подмотку ногтем. И говорит важно:

– Вон те покажь.

Продавец-парень с капризной усмешкой кидает на прилавок другую пару.

– Сапоги покупать – это тебе не лапти покупать, – назидательно говорит Иван. – В них будешь ходить не одну неделю, а до самой женитьбы! – И видно, как он горд, важен, как счастлив при людях говорить такие веские, умные слова.

Наконец он выбрал самые, на его взгляд, лучшие и велел Степану разуть одну ногу. Степан отошел в угол, опустил на пол и принялся разуваться.

– Не эту разувай, правую, – командует Иван.

– Не все ли равно какую? – удивился Степан.

– Стало быть, не все равно. Правая немного полнее левой, по ней и надо мерить.

Мерить тут особенно и нечего — сапог свободно болтался на ноге. Однако как хорошо! После сапога Степану никак не хочется надевать лапоть. Может, он в сапогах и пойдет?

Но Иван решительно отбирает их и, перекинув себе на плечо, торжественно и долго отсчитывает деньги. А Степана одолевает страх: вдруг денег не хватит и сапоги отберут!

Вот так-то вот! Но, щедрая, праздничная душа, он хочет поделиться радостью и со Степаном:

– На, носи. – И вешает их Степану на плечо. – Когда будет много денег, отдашь.

– А если у меня их никогда не будет?

– Что за человек будешь, если у тебя не будет денег! – и добавляет. – Тогда сидел бы в деревне на печи, и не ездил по городам!

Степан еще никогда не думал о деньгах. В город приехал не из-за них. Он приехал в Алатырь научиться рисовать иконы.

Степан опять вспомнил про землю за пазухой. Как бы отделаться от нее? Ведь он не знает, где будет жить, где его дом. Ясно одно – он будет жить здесь, в городе, а ярмарка – самое главное место города... И он потихоньку распускает поясок на рубахе.

– Как теленка вожу, того и гляди отстанешь, – говорит брат с досадой. – Дай руку.

Степан послушно шагает за ним, поглядывая ему в спину. Он слышит, как сухая земля течет из-под рубахи. Все. Теперь люди затопчут ее в землю Алатырского Венца, и она останется тут лежать навеки. Степан почувствовал легкость во всем теле и поспешил за братом. Они прошли хлебный ряд, потом – скотный. Эти ряды были самыми большими. Людей тут было особенно густо, не протиснуться.

Вот наконец-то и опять кудельный ряд. Вдруг Иван хватается брата за плечо:

– Сапоги где?! – Кажется, глаза у него готовы выскочить от испуга.

Степан смотрит себе на грудь. Ведь сапог только что тут болтался. Он озирается. Он готов броситься обратно и искать сапоги.

– Эх ты, раззява! – И замахивается кулаком, а у самого на глазах закипают гневные слезы. – Ходи теперь в лаптях, коли потерял. В сапогах будет ходить за тебя кто-нибудь другой.

– Пойдем поищем, – бубнит Степан. Ему тоже до слез жалко сапог.

– Нашли, если бы все люди были такими же раззявами, как ты.

Отец все еще стоял возле своей кудели. Он совсем замерз, съежился в мокром тяжелом зипуне. Губы посипели. В бороде блестели капли дождя, словно роса в траве. Когда подошли сыновья, он оживился, подергал плечами.

– Где походили? – спросил он, еле ворочая языком.

– Так... прошились, – нехотя ответил Иван.

Степан угрюмо молчал. Он со страхом ждал, что сейчас Иван скажет про сапоги. Отец, конечно, рассердится и заявит, что раз Степан такая раззява, ему нечего делать в городе. И увезет его обратно в Баевку. Но Иван пока молчал.

Сеял и сеял мелкий дождичек, обволакивая сыростью белую большую церковь, дома, людей, копился в кудели светлыми каплями. Однако люди словно и не замечали дождя – они так же деловито шныряли по рядам, зорко оглядывая товар, спрашивали цену и отходили прочь, даже не торгуясь.

Отец сказал Ивану:

– Шел бы ты домой, чего тут мокнуть. У тебя, чай, свои дела есть.

– Пожалуй, – согласился Иван.

– Иди, правда. А мы постоим еще. Может, продадим, купим ему пиджак...

Иван ушел, бросив на брата значительный и строгий взгляд. У Степана отлегло на душе: не сказал! Все же какой хороший человек – Иван, старший брат. И жить у него будет хорошо... И Вера, жена брата, тоже добрая – каков вкусный суп варит... Так думалось Степану, пока он стоял, прижавшись к отцу и глядя поверх людских голов на белую церковь с тусклыми золотыми куполами, на высокую колокольню, где по карнизу сидели мокрые голуби...

Покупатель наконец-то нашелся – знакомый мужик из Баева. Они разговорились с отцом. Дмитрий спросил, как там живут.

– Ай забыл, как жили? – хмуро сказал баевский мужик и показал на кудель. – У тебя вот лишняя – продаешь, у меня не хватает – покупаю. Прялки у баб не шумят, прясть им нечего. – Он был такой же мокрый, как и отец, усы повисли, губы синие от холода.

– И я продаю не лишнее, – сказал Дмитрий. И голоса у них были похожи – какой-то угрюмой и привычной жалобой.

Однако, получив за кудель деньги, отец заметно взбодрился. И пока искали лавку с одеждой, он купил фунт калача, разломил и половину протянул Степану.

– А это гостинец для Ильки, – сказал он, пряча другую половину за пазуху.

В одежной лавке, пока Степан жевал калач, Дмитрий выбирал пиджак. Выбирал долго и придирчиво, как Иван – сапоги. Щупал, мял, разглядывал подкладку, пуговицы. Но вот велит снять зипун и примерить пиджак. В сухом и мягком пиджаке Степану сразу сделалось тепло.

– Тетя, я его не сниму, – сказал Степан.

– Ладно, походи пока.

Опять пошли по ярмарке. Но теперь Степан не замечал дождя. Ему было тепло и сухо. И еще ему казалось, что все люди только на него и смотрят. Да и как не смотреть?! Такой пиджак есть не у каждого. Сукно толстое, темно-синее. По бокам два кармана. Пуговицы в два ряда черные, блестят. Сам пиджак Степану ниже колен. В таком пиджаке не замерзнешь в любой мороз!..

## **АЛЕКСАНДР АРАПОВ**

(1959)

Родился в эрзянском с. Чеберчине (Кенде) Дубенского района Мордовии в семье учителей. Его поэтический стаж насчитывает 35 лет, с 1 июня 1975 г., когда в передаче «Ровесник» Всесоюзного радио прозвучали его первые стихи. В том же году в рубрике «Кораблик» журнала «Пионер» было опубликовано стихотворение юного поэта «Звезда на небе задрожала...». А.В. Арапов – член Союза писателей России (1994), заслуженный поэт Республики Мордовия (2003), лауреат газеты «Литературная Россия» (2000).

### **Восьмое марта**

Ах, как брызнуло весной!  
За тюльпанчиком, за ранним  
На базаре люд – стеной,  
Как на регби или ралли.  
Тесно соткам в кулаках!  
Не за водкой, не за пивом  
Потянуло мужика –  
За цветком живым, красивым.  
Чтобы взять букетик тот  
В шебуршащем целлофане  
И узнать, как сердце жжёт, –  
Будто вдруг поцеловали.  
Будто в чём-то согрешил,  
До сих пор не признавался.  
Будто жить-то и не жил,  
А всё только собирался.

## **МАКСИМ БЕБАН (БЯБИН)**

(1913 – 1986)

Родился в с. Керетине (Керета) ныне Ковылкинского района Республики Мордовия в крестьянской семье. Литературному творчеству М. Бебан начинает уделять много внимания после опубликования в 1930 г. стихотворения «Микита-тракторист». М. Бебан широко известен и как мастер басенного жанра. Лучшие басни вошли в поэтические сборники «Моя весна» (1957),

«Нюди и кенди» («Свирель и оса», 1960) и другие. Одним из первых мордовских поэтов М. Бебан обратился к жанровой форме сонета. В историю мордовской литературы М. Бебан вошел и как переводчик. Он перевел на мокша-мордовский язык ряд стихов А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, С.А. Есенина и других. Заметное место в творчестве М. Бебана занимает проза. Из-под его пера вышло немало очерков, рассказов, изданных в сборнике «Вместе с солнцем» (1968).

### Крыса и крот

Темна, крута  
Тропинка в мир Крота.  
От суеты надежно он укрылся...  
Но заползла в кротовью норку Крыса,  
Морзянкой запищала: «Пи-пи-пи...»  
Не наглупи, –  
Жизнь не проспи. –  
В прекрасный мир вступи,  
Взгляни, как хорошо в степи...»  
И ну рассказывать про воздух и про солнце,  
В надежде, что от сплина Крот проснется.  
И тот признался: «Может, я не прав.  
Живу тут без цветов, без трав,  
В плену корней червеобразных...»  
И выполз из норы отшельник, как на праздник...  
Ручья журчала глубина  
Жгла лучезарность жгучего облика,  
И вперивалась в перистое облако  
Зеленых великанов купина...  
Но Крот, нырнув во тьму своих глубин,  
Подумал: «Эх, сглупил!  
Доверился писклявой фантазерке, –  
Навыдумала неба, трав...  
Я солнце-то не видел, нос задрал,  
А уж насколько нюх мой зоркий!  
Нет, больше свой покой я не нарушу...»  
Крот дал зарок: не вылезать наружу!

## АЛЕКСАНДР ДОРОНИН

(1947)

Родился в д. Петровка Большеигнатовского района. Окончил Ичалковское педучилище (1967) и Литературный институт им. А.М. Горького (1973). Творческую деятельность начал, будучи учащимся Ичалковского педучилища. Первый сборник стихов «Родная сторона» вышел в 1972 году. А. Доронин является переводчиком с эрзя-мордовского языка либретто к опере «Сияжар» Михаила Фомина. С конца 80-х – начала 90-х гг. XX в. начинает создавать прозаические произведения крупного жанра. Первый роман «Перепелка – птица полевая» (1993) – лирическая хроника жизни современного эрзянского села.

### Кузьма Алексеев

*Отрывок из романа*

#### Репештя

Священная поляна, Репештя, куда эрзяне собирались на моления, совершенно сказочное место: куда ни глянешь – древние, могучие дубы-великаны и в человеческий рост трава, в траве россыпь цветов. Верхушки дубов, казалось, достают до неба. Кряжистые стволы свои зарыли в землю пузатыми бадьями. Сколько раз громы небесные пытались вырвать их с корнем, сколько раз молнии секли их желто-зеленым своим огнем, но со своего места деревья не сдвинулись. На плечах своих тучи держат, ревущие бури-ураганы им нипочем. Иди-ка, поставь таких на колени!

На середине поляны из-под огромного, с мельничным жернов камня, булькал родник. Прозрачная вода текла в ближайший овражек, под горку, откуда река Сережа берет свое начало. Из овражка сперва выбивается робкий ручеек, затем в лесу оборачивается в маленькую речушку, а у села Сеськина она уже весенним половодьем разливается, торопит свои шумные воды в Тешу, а оттуда – в великую Волгу-матушку...

От родниковой воды ломит зубы, до того она холодна. Однако простуда никому не грозит. Наоборот, вода в роднике целебна. Нарывы, чирьи всякие, другие болячки заживают быстро. Превосходное лекарство от всех недугов! Над родником, который заботливо огорожен слагами, зеленым навесом встали четыре дуба, древних, кряжистых. Дремали, ветками своими

лениво помахивали. Лет по двести этим охранникам. Жилистые, гнутые ветки их подпирали друг друга. На нижние, самые толстые ветки положены три широкие доски. К самому могучему дереву, которому эрзяне дали имя Озкс-Тумо, были прибиты иконы со святыми ликами. На каждой полке стояли свечи. Под дубом с восточной стороны поставлен стол, накрытый белым полотном. Во время чтения молитвы, как обычно, Кузьма Алексеев смотрел на запад.

Дубы каждый год были очень плодоносны и богаты желудями. Желуди крупные, размером с яблоко, но их никто никогда здесь не собирал... Сколько хочешь их мни, топчи лошаадьми, телегами дави, а вот собирать их, ни-ни! – за это за волосы оттаскать могут. Однажды один эрзянин из Кужодона, позавидовав, наполнил золотистыми желудями свою телегу, так на следующий день кобыла его двуногого жеребеночка ему подкинула. Да и в Сеськине был случай. Один старик взял да прошлогодние желуди собрал и поджег. Те не сгорели, а его дом со всеми постройками в небо костром вихрастым взлетел. Хорошо еще, старуху соседи успели вынести из горящей избы, а то бы обуглилась. В позапрошлом году, предпоследний поп-батюшка, вместо которого нынче отец Иоанн, в полночь в родниковую воду мешок золы сыпанул. Под утро церковный сторож, что пришел к нему звать на службу, нашел его посреди пола мертвым.

Давным-давно в стволе Озкс-Тумо кто-то сделал топором отметину – углубление. Теперь эрзяне в каждый свой приход сюда, на Репештю, в разросшемся дупле свечу зажигают. Это делают каждый раз, когда идут на большое, серьезное дело: медведя или лося валить, или лес рубить. Молодые ставят свечи перед своей свадьбой, старики – перед предстоящей кончиной. Все ожидали от священного дуба радости и счастья, добра и богатства, теплых зим и обильных урожайных дождей. Дупло, словно устье большой сельской печки – чернее черного. От постоянно горящих в нем свечей оно стало похоже на кузнечный горн. Дупло это с каждым годом росло и увеличивалось. Теперь в нем можно было стоять в полный рост. Можно было, но в него заходить никто не смел, это считалось страшным грехом. Священное дерево, освещенное изнутри, казалось суеверным людям восходящим солнцем жизни. Деды и прадеды их поклонялись

силам природы: солнцу на небе, земле, лесу, воде – всему, что их окружало и от чего зависела их жизнь.

Вот и нынче сельские жители собрались у заветного родника, пригоршнями черпали студеную целительную воду, трепетно подносили к своим губам и пили, пили, благодарно вознося свои молитвы Мельседей Верепазу. О чем шептали они и просили от Озкса-Лисьмапря – знали лишь сами. Слышно было в лесной тиши говорливое журчание родника да веселый щебет божьих посланцев – вольнолюбивых птиц. Но грустинка уходящего, отступающего лета чувствовалась и здесь: бабочками порхали падающие с деревьев пожелтевшие листья, багровели земляничные поляны, один лишь красный клевер беззаботно приплясывал под ветерком.

Вот люди встали под дубом. Филипп Савельев зажег священную свечу. Огромное дупло засветилось от множества вспыхнувших в этот момент маленьких тонконогих свечек по числу древних богов.

На Кузьме Алексееве эрзянские праздничные одежды: руками жены шитые льняные штаны, белая вольная рубашка, которая подпоясана нарядным плетеным кушаком. На ногах липовые новенькие лапти, портянки белеют первым выпавшим снегом. Веревочки на них тонкие-претонкие, только при пристальном взгляде заметные.

С двух сторон возле жреца встали Виртян Кучаев и Филипп Савельев. Моление началось. Кузьма говорил о нынешнем годе, хвалил его. Жаловаться нечего, весна была теплой, лили благодатные дожди, по утрам выпадали обильные росы. Теперь же на полях густые хлеба колыхнутся. Рожь золотая совсем, колосья с палец толщиной. Высоки и ровные: ячмень, овес, чечевица, просо... Гречка, правда, еще низкая, но до прихода осени и она успеет созреть. Щедрыми на урожай оказались, по словам Кузьмы, сады и огороды.

– Мельседей Верепаз! – слышалось со всех сторон.

– Когда пшеничные снопы телеги давят, и они от тяжести скрипят, – рассказывал далее жрец, – а коровки наши нам в досталь молока дают – все это Верепазу дар. Не будем забывать об этом, поклонимся Ему!

– Многие из нас, – продолжал Алексеев, – Христу молятся. Это дело, конечно, личное, каждый о своей душе заботится. Но все же нам, эрзянам, нельзя о собственных богах забывать. Им молились наши предки. Разве у Иисуса Христа найдется время для нас, эрзян?

Разве Он знает о наших чаяниях? Слышал я от верных людей, что Христос чин с себя сложил. Другое дело – Мельседей Верепаз... Вот кому надо верить! Будет знамение: громыхнут двенадцать громов и на землю сойдет Давид с ангелами. Они будут судить мир. После этого на земле останутся только те, кто исповедует нашу веру. Все станут носить эрзянские одежды, чтить наши обычаи.

– Ух ты!!! – выдохнула толпа.

Закачалась листва на Озкс-Тумо, вспыхнула и ярче загорелась священная свеча в дупле.

– Эрзяне не будут пахать боярские земли, а будут жить свободно, в единой семье, помогая друг другу.

– О-о-о! – снова задрожала поляна от сотен голосов.

– Вся сторона эрзянская оденется в белые рубашки и праздничные платья... Все будут счастливы. Если все же пропадет наша вера Мельседей Верепазу, пропадет и язык наш родной. Молиться богам своим можно только на том языке, который нам дается с молоком матери...

Долго Кузьма объяснял односельчанам, что ждет их в будущем и как надо жить. Потом призвал всех, как и полагалось в день моления, вкусить жертвенной пищи. Загорелись костры, запахло дымом и мясом. А у костров снова разговоры о наблевшем. Алексеев опять терпеливо объясняет:

– Мельседей Верепаз всем необходимым нас наградил, да только беда, эрзяне: все засеянное и выращенное нашими руками сами возим в амбары графини Сент-Приест. – Кузьма повернулся в сторону жителей соседних сел – Сивхи и Тепелева – и только теперь увидел: среди них были и русские из Ломовки и Инютина, где хозяин князь Петр Трубецкой. – Барских амбаров да чуланов нам не переполнить! А тут еще кровососы управляющие последний кусок отнимают. Нашими трудами добытое в Нижний уходит да в Лысково. Там базары и ярмарки многочисленные наш хлебушек и другое добро в большие деньги оборачивают. А меха, которые добывают наши охотники, украшают одежды графини Сент-Приест. А мы по весне, чтоб не умереть с голоду, сережки березовые в хлеб запекаем... Кто же нас защитит, скажите на милость?..

С Репешти перешли на склон горы Отяжки, где были поставлены длинные столы. На них баранина в чашках глиняных, просяная каша с маслом, пироги с луком и картофельные ватрушки с румяной корочкой. Из толстопузых деревянных бочек

лилось пенистое крепкое пуре. Выпив и закусив, помянув своих богов, собравшиеся вновь захотели послушать удивительные речи Кузьмы. Он забрался на пустую бочку и с жаром сказал, показывая рукой на столы:

– Все вы видите, как щедра наша земля. С сегодняшнего дня запомните: что вырастили мы на земле сами – все наше!

С закрытым ртом никто не стоял. То и дело раздавались голоса. Хотя и грубыми они были – старики мягко да приветливо говорить не умели – все равно в этих голосах слышалось неболевшее, искреннее:

– Хлебушек гнить на корню не дадим!..

– Густой ноне уродился ленок, если самим его на базар свезти – разбогатеем...

К западу клониться уже стало солнышко, лучи его мало-помалу стали угасать. Над ним белое облачко распушило длинный хвост по всему горизонту. Все росло и расширялось это облако, и вскоре зелень лесов и золотые дали полей покрыло черным платком. Женщины с ребятишками уже давно разбежались по своим домам – слушать скучные споры-разговоры мужиков большого желания у них не было. А у мужиков – то ли от выпитого пуре, то ли от возбуждающих речей Кузьмы – силушка разыгралась. Решили побороться. Против Семена Кучаева поставили Игната Мазяркина. Оба широкоплечие, бойкие, ловкие в драках. Ни один не уступал другому. Быками ревели, взбрыкивали, босыми ногами рыли-топтали луг. Наконец Семен поднял Игната на себя и – хлоп! – бросил его на землю, навалившись всем своим телом. Игнат вытянулся и замер.

– Кучаев нарушил правила, – староста Москунин полез было со своей нагайкой на Семена, но старики не дали, встали на его защиту. К молодым парням лезть со своей правдой – круглым дураком останешься.

Семен протянул руку низвергнутому другу. Тот встал, стряхивая со штанов пыль и грязь, захохотал:

– Так будешь и дальше драться, на невесту свою сил не хватит!

Зерка Алексеева, во время борьбы стоявшая за спиной подруги, еще дальше отступила, покраснев, как мак. Тут Луша Москунина, грудастая старая девка, закричала:

– Пошли к Насте Манаевой под окошко! Вечер там проведем.

Молодежь дружно двинулась к селу.

*Перевод Е. Голубчик*

## **ЧИСЛАВ (ВЯЧЕСЛАВ) ЖУРАВЛЁВ**

(1935)

Родился в с. Большой Толкай (Покш Толкан) ныне Похвистневского района Самарской области в эрзянской крестьянской семье. На литературную стезю будущего поэта благословил его любимый учитель родного языка и литературы, впоследствии известный писатель Мордовии В.К. Радаев, заметивший в нем искры несомненного таланта. Однако в силу различных обстоятельств поэт долгое время не публиковался. И только в 1982 г. его стихи благодаря публикациям в газете «Эрзянская правда» и журнале «Искра» впервые стали известны широкому читателю. В последнее время Ч. Журавлев все больше внимания уделяет созданию коротких стихов-афоризмов. Числав Журавлев – член Союза писателей России с 1996 г.

### **Гость**

Бежала река за селом.  
Прохожий реке поклонился,  
Ладони сложил он ковшом,  
Воды зачерпнул и напился.  
И блики играли светло  
На отмелях и перекатах.  
Его поджидало село,  
В овсах затерявшись богатых.  
В этих овсах посреди  
Стоял человек, улыбался.  
И песня рождалась в груди,  
И кто-то с небес улыбался.

## **МАКАР ЕВСЕВЬЕВ**

(1864 – 1931)

Родился в с. Малые Кармалы Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Ибресинский район Республики Чувашия) в многодетной эрзянской крестьянской семье. В 1928 г. он выпускает в Москве два фольклорных сборника – «Эрзянские сказки» и «Эрзянские песни». Не меньшее значение имела и публикация эрзянско-русского словаря (М.: Центриздат, 1931), поскольку до издания

этого лексикографического труда не было ни одной более или менее солидной словарной работы по мордовским языкам.

## **Мордовская свадьба**

*Отрывок из очерка*

### **Возраст вступающих в брак**

Определенного возраста для вступления в брак у мордвы в старину не было. В общем мордва женила своих сыновей очень рано – в 8-10 лет на 20-30 летних девицах. В начале XVIII века наименьший возраст жениха был установлен законом в 15 лет, но духовенство из-за денег по-прежнему продолжало венчать малолетних. Так, в 1761 г. дьячок с. Синдрово Краснослободского уезда донес на местного священника, что «Он венчал новокрещенских детей несовершеннолетних... а именно: Исаия Борисова – девяти, Карпа Романова да по-мордовски Тремаса Алексеева – одиннадцатилетних».

В народных песнях имеются указания на то, что богачи нередко женили своих грудных детей на взрослых девицах...

Цель женитьбы малолетних мальчиков на взрослых девицах была чисто экономическая: богатый отец старался поскорее женить своего сына, чтобы взять в дом новую рабочую силу. Родители девиц, наоборот, в тех же целях старались как можно дольше держать своих дочерей при себе.

Некоторые русские этнографы в обычае мордвы женить малолетних видели иную цель – снохачество.

Так, И. Н. Смирнов пишет: «Указы Правительствующего Сената, адресованные духовенству Пензенской епархии в 50-х годах прошлого столетия, констатируют, что мордва – новокрещены, малолетних своих сыновей 8 – 10 лет и до 12 женят и берут за них девушек 20-ти лет и более, с которыми свекры впадают во многое кровосмешение». Но это едва ли верно. Во-первых, потому, что мордва к снохачам относилась и относится слишком брезгливо, поэтому снохачество среди них – явление весьма редкое. Во-вторых, у мордвы не сохранилось никаких преданий о том, чтобы у такой неравной по возрасту брачной пары начинали рождаться дети до достижения мужем половой зрелости (16 – 17 лет). Наоборот, в народных песнях имеются указания на то, что взрослые жены воспитывали своих малолет-

них мужей, как собственных детей, и лишь в крайних случаях, когда мужья оказывались слишком капризными, решались на убийство их (см. песни: «Кудадеень пакся» («Кудадеево поле». – Ред.), «Дова баба – солдатка» («Вдова – солдатка». – Ред.).

К этому следует прибавить, что и поводом к изданию приведенного Смирновым указа послужила собственно не мордва, а однодворцы (русские). В протоколе Тамбовской духовной консистории, в ведении которой находилась и Пензенская губерния, по поводу получения этого указа сказано: «... ввиду того, что многие попы из новокрещенских жительство оказались повинны в венчании из-за взяток незаконных браков, т. е. ниже правильных лет, консистория постановила: в предосторожность, дабы впредь в Тамбовской его преосвященства епархии священники малолетних ниже пятнадцати лет отнюдь венчать не дерзали и тем бы в народе кровосмешению причин подавать не допускали, разослать указ по всем духовным правлениям».

А в этом указе, между прочим, говорилось: «... между однодворцами непотребный обычай в великом употреблении, ибо они малолетних своих сыновей лет осьми и десяти и до двенадцати женят и берут за них девок лет по двадцати и более, с которыми свекры их многие попадают в кровосмешение, через что как по закону великая противность, как и однодворческим домам разорение происходит не от чего иного, как только от лакомства попов...»

В настоящее время мордовские парни обычно женятся при наступлении 18-летнего возраста. Женятся все, неженатых у мордвы почти не бывает. По переписи 1696 г. по Алатырскому уезду, в состав которой в то время входил весь нынешний Ардамовский и часть Лукояновского уездов, взрослых и здоровых неженатых не значилось ни одного.

Девушки в старое время тоже все выходили замуж. Исключение составляли лишь неспособные к супружеской жизни. Но в последнее время начало было среди мордвы развиваться черничество. Часто здоровые и красивые девицы, по преимуществу дочери состоятельных родителей, отказывались от замужества, меняли национальный костюм на русское черническое платье темного цвета, строили в компании с подругами на окраине села отдельную келью и поселялись в ней. Причина этого явления не столько фанатизм

религиозный, сколько тяжелые условия замужней женщины. По той же причине мордовские девушки уходили и в монастыри. Существовавшие до революции женские монастыри в Алатыре, Краснослободске, Темникове, Арзамасе, Дивееве, Понятаевке и прочих местах наполовину были наполнены мордовскими девицами. Уходили в монастыри и мужчины, но сравнительно реже.

## **НИКОЛАЙ ИШУТКИН**

(1954)

Родился в с. Симкино, находящейся на границе Большеберезниковского района Мордовии с Ульяновской областью. Как поэт впервые заявил о себе в 1973 г., выступив в журнале «Искра» с подборкой стихов «Молодость» и «Березка». Всего из-под пера поэта вышло четыре сборника стихов на эрзянском и русском языках.

### **Злое слово**

Слетело злое слово с языка  
И разрослось,  
Огромным сразу стало.  
Сразило злое слово не врага –  
Сразило друга...  
И его не стало...  
...Хожу один...  
Опять душа болит,  
За эту черствость  
Снова обвиняет.  
Ведь злое слово  
Хоть и не горит,  
Но пуше головешки  
Обжигает...

## **ВАСИЛИЙ КОЛОМАСОВ**

(1909 – 1987)

Родился в с. Старые Найманы (Эрзя Найман) Большеберезниковского района ныне Республики Мордовия в семье крестьянина. Как и многие мордовские литераторы, он начал свой творческий путь с создания поэтических произведений («Не плачь»,

1931). Писал драматургические и прозаические произведения. Он известен и как переводчик на эрзянский язык произведений болгарских писателей А. Ценева («По пути домой», 1966), З. Дафинова («Тошо и Жанна», 1966), комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», ряда стихов Г. Гейне, рассказа М. Шолохова «Судьба человека» и др. В. Коломасов – член Союза писателей СССР (1938). Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, медалями.

### Лавгинов

*Отрывок из романа*

#### Часть первая

##### 1

Всю ночь дул холодный ветер, шел мелкий дождь. К утру небо прояснилось, ветер перестал. Днем Ванюшка, сын Насты, выйдя с матерью на улицу, зажмурился от солнца.

Ванюшка сегодня веселее обычного: ему сказали, что он именинник – исполнилось шесть лет. На нем новая рубашка, новые штаны, и, кроме того, мать с утра специально для него сварила горшок каши. Эту кашу они с час назад съели вместе с бабушкой Васильевной, соседкой. Васильевна, прежде чем взять ложку, зачем-то трижды поднесла горшок с кашей к иконам, что-то шептала про себя, затем трижды коснулась горшком Ванюшкиной головы:

– Расти, дитяtko, большим и умным.

Неподалеку от дома Лавгиновых стоит развесистая ветла, под ней валяется дубовая колода. Наста села на колоду, посадив рядом с собой сына, и задумалась.

По тихому осеннему небу потянулись цепочкой перелетные птицы. Точно такой же цепочкой летели вдаль и мысли Насты.

Вот и осень пришла во двор, сменила жаркое лето, и это ушедшее лето Наста, как и в прошлые годы, опять прожила без мужа. Конечно, теперь она как-то притерпелась к длительным отлучкам Яхима, привыкла к одинокой жизни и уже вроде перестала завидовать тем женщинам, которые без конца нахваляются своих мужей – и живется им за ними припеваючи, и жалеют, и балуют их мужья. Может, оно так и есть, но ей, Насте, не выпало такого счастья со своим мужем. Не такой Яхим, чтобы баловать свою жену. Напротив, он сам всегда норовит, как бы полвечее да полегче пожить за счет жены.

Прошло несколько лет, как они живут в колхозе «Од ки»\*, и, если говорить правду, за все эти годы Яхим по-настоящему не поработал на колхозном поле.

Каждую весну, как только пролетали над Сурой возвращающиеся в свои гнездовья перелетные птицы, на Яхима что-то находило. Его охватывало беспокойство, начинало безудержно тянуть в путь-дорогу. Тогда он оставлял Насту с сыном и отправлялся за длинным рублем – когда по вербовке, а когда и не дожидаясь вербовщиков.

Весной этого года уехал он далеко, в город Ташкент.

Наста не забыла день его отъезда. Тогда между ними разгорелась ссора. Наста пыталась удержать Яхима, не пускать его в такую даль, говорила, что не желает больше оставаться долгими месяцами соломенной вдовой, всему селу на посмешище. Но как она ни убеждала, как ни бранилась, Яхим стоял на своем.

Тогда, уезжая, под этой самой ветлой он говорил Насте:

– Конечно, дорогая, я бы сидел на месте, не рыпался, но ты пойми своей пустой головой: разве я смогу прокормить тебя и Ванюшку, оставаясь здесь, в селе? Может, ты боишься, что я опять осенью приеду с пустым карманом, как приезжал прошлые разы? Как бы не так! Выкинь это из головы. Главное, теперь я еду в такие края, откуда без денег никто не приезжал. Ташкент – город хлебный, я однажды даже книгу такую видел... И прикидываю я так, что осенью или на зиму мы всей семьей отсюда двинемся. Подумай сама, зачем нам жить тут, когда можно поселиться в таких местах, где и вовсе зимы не бывает?..

Насте хотелось сказать, что он не прав, что они прекрасно проживут свой век и в Найманах, что нет им никакой надобности ехать из родного села в Ташкент, но Яхим уже без удержу несся на крыльях своего красноречия:

– В Ташкенте, говорят, этого самого урюка и разного кишмиша так много, что ешь – не хочу! Ну, а это самое главное лекарство для моих легких и печени. Потому я и говорю: незачем нам тут жить. Пусть в Найманах останутся те, у кого полон дом едоков. Например, наш сосед Егорий Кириллович – кроме него со старухой еще семь ртов, – пусть старик и пропадает тут со своей оравой. У нас же с тобой всего один птенчик, да и тот уже вырос, с ним мы

---

\* «Новый путь» (эрз.)

всюду жилье найдем, хотя бы даже на этой ветле: свивай гнездо и живи себе припеваючи. Да-а! И выходит, дорогая, что тебе вовсе не следует расстраиваться. Верь моему слову: недели через три или пять ты обязательно получишь от меня деньги – ни мало, ни много, но сотню-другую «листочков» пришло...

Он рассеянно посмотрел на жену и серьезно продолжил:

– Тебе ж пока придется работать в колхозе. Работай там, зарабатывай, но будь себе на уме, о главном не забывай. Пуще глаза береги наше собственное хозяйство. Надеюсь, женушка, ты хорошо присмотришь за ним до моего возвращения...

Все было сказано хорошо, убедительно даже, но, ох, как Наста знала своего мужа! За лето она получила от Яхима вместо обещанных денег только два письма, да и то без марок. Глядя на конверты с доплатным штампом, она поняла, что нечего надеяться на сотни «листочков», хотя Прокопыч уверял ее, что это, мол, Яхимушка шлет свои письма без марок потому, что доплатные быстрее идут, но уж никак не по причине безденежья.

Летом как во время прополки яровых, так и в горячую пору сенокоса и уборки хлебов она всегда первой выходила на работу, и теперь вот, осенью, на свои трудовые – их набралось у нее почти две сотни – получила тридцать пудов хлеба, столько же картошки, достаточное количество кормов для коровы на зиму, а также шерсть, из которой Васильевна связала для Ванюшки пару теплых носок. Конечно, если бы муж был дома, как у других женщин порядочные мужья, если бы он работал в колхозе так же, как, например, Егор Кириллович, тогда бы завезли в дом втрое больше хлеба и картошки, и всякой всячины...

Так, сидя под ветлой, размышляла Наста. Она не заметила, как в конце улицы показалась лошадь, запряженная в тарантас. Тотчас же раздался собачий лай. Издали трудно было распознать сидящих в тарантасе. Один погонял лошадь, а другой ради забавы дразнил бежавших за повозкою собак. Тот, кто правил лошадей, видимо, был не местный, потому что он показал кнутовищем на один из домов, о чем-то спросив своего товарища. Тот отрицательно покачал головой и рукой показал на дом Насти, в то же время продолжая дразнить неугомонных дворняг.

Только несколько минут спустя, когда тарантас был уже совсем близко от ветлы, Наста узнала того, кто дразнил ошетилившихся от ярости собак.

Это был Яхим.

Нежданный гость молодецки спрыгнул с повозки и с улыбкой сказал:

– Ну, вот и приехали. Здравсти!

За время, что он не был дома, Яхим почти не изменился. Такой же стройный и здоровый. Тот же тонкий, с чуть заметной горбинкой нос, те же ямочки на щеках и улыбочивые губы. И глаза его не выцвели, все такие же синеватые, и один из них все так же насмешливо прищурен.

Насту удивил костюм мужа. На этот раз Яхиму действительно было чем блеснуть перед женой. Был он одет совсем как городской: в кожаной куртке, на ногах – сапоги с калошами, правда, сапоги простые, из юхты, и калоши на них, наверно, только для форса. Штаны у Яхима широченные, как у цыгана, плещутся поверх голенищ; на голове ухарски сбитая набекрень шапка-кубанка, из-под которой на высокий лоб легло русое колечко волос в виде загнутого хвостика.

Наста с сыном встретили Яхима с радостью. Было чему обрадоваться: вернулся в дом муж, отец, да и приехал он не с пустыми руками, привез кое-какие подарки: Насте ситцевое платье, два платка, тоже ситцевых, а Ванюшке хромовые ботинки, и, кроме того, извлек из чемодана килограмма два урюка. Все это, конечно, верный признак того, что в эту осень Яхим вернулся из своих странствий не бедняком.

Поднося жене подарки, он сказал:

– Ну вот, женушка, хватит тебе ходить в эрзянском покае, надевай городское платье. Оно хоша и не из дорогих, но все равно более интеллигентское, чем твой покай с вышивкой. Я говорю это к тому, что пора уже нам быть культурными.

Он бы, наверно, изрек еще что-то в этом роде, не заявись в дом сосед, Ефим Прокофьевич Каргин, или, как его попросту звали на селе – Прокопыч.

Наста даже довольна была, что пришел старик: ведь Яхим, чего доброго, продолжал бы молоть чепуху, и радость, охватившая ее при встрече, могла окончательно померкнуть...

*Перевод Л. Елисеева*

---

\* покай – у эрзянок красочно вышитая шерстяными нитками рубашка.

## ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

(1936 – 1981)

Родился в с. Мордовская Пишля (Мокшень Пишля) Рузаевского района ныне Республики Мордовия в семье учителя. К литературному творчеству обратился в конце 50-х гг. Его критические статьи, заметки, очерки печатались на страницах республиканских газет и журналов. В начале 70-х гг. он становится признанным мастером лирической прозы. Первый сборник рассказов «Дальний семафор» опубликовал в 1972 г. Проза Ю. Кузнецова отличается наличием психологического анализа, широким социальным звучанием, раскрытием сложного духовного мира современника. Его произведения переведены на русский, финно-угорские языки. Он член Союза журналистов (1965), член Союза писателей СССР с 1977 г. Похоронен в Саранске.

### Осенняя ягода – рябина

*Рассказ*

На тихом месте стоит деревенька Полянки, вдалеке от больших дорог; редко когда вдоль улицы промчится автомашина или протарахтит трактор: центральная усадьба совхоза километрах в шести-семи – вот туда и ведут шумные тракты. Там же и средняя школа, и сельсовет, и почта, и все другие деловые учреждения. Поэтому и не держится в деревне молодежь – в город ли уезжает, куда ли, до центральной усадьбы ходить далеко, а в Полянках какая им работа? Неперспективной считается деревушка.

А места здесь – чудо как хороши. Деревушка вытянулась единственной своей улицей вдоль Желтой реки, а с трех сторон дуб и липа, береза да осина... Леса раскинулись – за неделю не обойдешь, на светлых полянках летом красно от созревшей земляники, а осенью грибов видимо-невидимо – хоть косою коси. Вода в Желтой родниковая – студеная и прозрачная, каждый камешек, каждую травинку на дне увидишь. Царят вокруг тишина да покой. Изумительные тут места!

Не потому ли летом, во время отпусков, почти вся молодежь наезжает в родную деревню. Тогда веселым говором и смехом оглашаются окрестные леса и речная пойма. А осенью над Полянками опять нависает тишина, глубокая и прозрачная.

В этом году счастье посетило дом Анны Григорьевны Ивашкиной, или, как зовут ее в деревне, бабы Ньюры; не весной или летом, как обычно водится, а поздней осенью из города в отпуск приехали два ее сына, навезли матери подарков, а главное – наполнили ее домишко весельем и шумной радостью. Будто скинула со своих плеч добрый десяток годов баба Ньюра, выпрямилась, ходит легко – земли под собой не чувствует.

Но счастье, к сожалению, всегда бывает недолгим. Пожили с Анной Григорьевной сыновья, по хозяйству пособили: колодезный сруб наладили, изгородь подправили, в садике землю вокруг яблонь перекопали, а когда в хозяйстве в основном все было налажено, собрались за семейным столом, угостились, старший встал и сказал:

– Ну, мать, пожилы мы у тебя, отдохнули на славу – спасибо тебе за хлеб-соль да ласку материнскую. А теперь благослови нас в путь. На новое место оба переезжаем, на новом месте будем жить и работать.

– Как – на новом месте? – не поняла Анна Григорьевна и перевела вопрошающий взгляд на младшего сына.

– На КамАЗ едем, мам, – пояснил младший. – Недалеко от нас большой завод строится, вот мы и решили податься на эту стройку. Специалисты там очень нужны.

– А как же... семьи, квартиры? – недоумевала баба Ньюра. – Ведь на новом месте не скоро обживетесь-то...

Старший сын подошел к матери, положил на ее худенькие плечи руки, ласково сказал:

– Ничего, мама, все устроится, не беспокойся за нас. На первых порах в общежитии будем жить, а там видно будет. Окоренимся – семьи позовем. А пока невестки-внучата в гости к тебе будут приезжать. Да и с КамАЗа путь сюда недалекий.

Анна Григорьевна не находила ответных слов, растерянно молчала, – ох, неугомонные, непоседливые...

...Знакомой дорожкой провожает баба Анна к поезду сыновей своих. Эта затравевшая дорожка вначале выходит за околицу, а затем, сбегав в овражек, идет вдоль Ольховой лощинки, пока не завернет к лесу. А там, в глубине леса, разъезд – окрашенное суриком небольшое здание вокзальчика, над крыльцом колокол, оставшийся с незапамятных времен.

В былую пору баба Анна провожала своих родных до самого разъезда, а теперь ноги уже не те – слабость в них появилась, – потому доходит она только до полпути, останавливается около рябины, что растет на взгорке, и здесь прощается со своими близкими.

И сейчас все трое остановились около дерева, долго стояли молча. Глаза у Анны Григорьевны повлажнели, смотрела на сыновей, и холодок расставания знобко растекался в груди.

– Ну что, прощай, мать, – прервал наконец молчание старший сын и обнял ее, почувствовав, какая она вся сухонькая, как мелко подрагивают ее плечи.

Затем обнял мать и младший.

– Будь здорова, мама! Не горюй – скоро увидимся.

Троекратно поцеловались, и братья зашагали к лесу, где, как знала баба Анна, земля была усыпана палыми сухими листьями, которые будут шелестеть под ногами до самого разъезда.

Братья, удаляясь, часто оборачивались, махали руками; напоследок остановились на закрайке леса, постояли немного и вскоре скрылись в желтой чащобе.

Анна Григорьевна последний раз взглянула в ту сторону, медленно повернулась, и взгляд ее невольно задержался на рябине. Почти все ее листья опали, надежно укрыв корни от осенних заморозков и зимних стуж; сухо шелестел на взгорке бурьян, пустынным было желтовато-черное поле; холодом веяло с выцветшего неба, гроздь, скрашивая своим нежарким светом осеннюю поблеклость. Нет, они еще не прихвачены зазимком, да и не боятся ягоды рябины заморозков – только вкуснее становятся, для многих любимее и желаннее.

Если ясень сбрасывает свои ажурные листья зелеными, разом обнажая крепкие свои ветви, то рябина не столь расточительна – у нее ведь остаются детки-ягоды. И не страшны им любые морозы.

Анна Григорьевна вздохнула и медленно отошла от дерева. Проводила она сыновей, и, как всегда, потянулись чередой воспоминания – не убежишь от них, не спрячешься, – вернули ее к давно прошедшим дням, что светятся в памяти, словно неяркие осенние ягоды рябины с привкусом горечи на губах.

...Закончилась война, и вот по этой торной дорожке стали возвращаться в село солдаты, а встречать их родных, долго-

жданных – выходили те, кто ждал с войны отца, сына или брата. Вместе со всеми выходила за околицу и Анна Григорьевна с Яковом Ивановичем, но их единственный сын Миша на дорожке не показывался. Будто в воду канул – последние месяцы не подавал о себе никаких вестей. Кто остался в живых, тот вернулся; после госпитальных мытарств приехали и выздоровевшие раненые, а Миша таки не объявился. И мучаясь бессонными ночами, все думала и думала Анна Григорьевна о своем сыне.

Неужто в живых нет? Может, и могилка его уже заросла травой, а они все ждут и ждут. Нет, не может быть! Ведь иной раз возвращаются и те, кого давно считали погибшим, чьи похорожки не раз были оплаканы родными. А сына все нет. Хоть весточку какую подал бы...

Проходили безутешные дни, недели, месяцы, а судьба единственного ее сыночка оставалась безвестной. Нет, не угас в материнской памяти образ его, но однажды Анна Григорьевна почувствовала, что под сердцем забился живой комочек – завязалась новая жизнь.

«Господи, пошли мне сыночка», – шевелила губами Анна Григорьевна и решила: если будет сын, назовет его Мишей в честь погибшего старшего сына. Если того уже нет в живых, пусть продлится жизнь его в братике...

И все-таки порадовала ее судьба – родила Анна Григорьевна сына, которого нарекли Мишей. Яков Иванович поднял его на руках к потолку и тихо сказал:

– Ну живи, Мишутка, будь памятью о Мише Большом.

И Анна Григорьевна с Яковом Ивановичем постепенно стали свыкаться с мыслью, что их Миша, наверное, не вернется, хотя сердцем каждый миг ждали его, ждали...

И вот однажды к околице подошел человек на костылях, в вылинявшей солдатской одежде и стоптанных кирзовых сапогах. В деревне на него не обратили внимания – мало ли проходит людей через Полянки, может, в Ольховку путь держит либо еще куда. Но Анна Григорьевна, как только увидела солдата в окно, опрорхотью кинулась из избы. И когда подошла к нему, почувствовала, как гулко бьется сердце. Неужели этот солдат ее Миша? Брови и ресницы опалены, все лицо в каких-то бурых пятнах, будто обгорело. Но глаза!.. Глаза ведь его, сына!.. Он!..

– Миша! – вскрикнула Анна Григорьевна и, обессиленная, прислонилась к груди солдата.

– Я, мам, я... – вздрагивали его пересохшие губы.

– Сыночек... Живой... – не верила глазам Анна Григорьевна, снизу вверх глядя на Мишу. – Сыночек ты мой родно-ой!..

Дома Михаил Яковлевич тяжело опустился на лавку, прислонил к стене костыли и вытер ладонью вспотевшее изуродованное лицо.

– Где отец? – спросил он.

– Жив-здоров. В поле работает. Да почему же, сыночек, ни одной весточки о себе не подал? Разве трудно было письмецо написать? – подперев ладонью щеку, смотрела – не могла наглядеться на сына Анна Григорьевна, сама то смеялась, то плакала. – Мы-то ведь думали... – не договорила последние слова.

Михаил тяжело вздохнул и начал рассказывать. Горел он в танке. Ранило крепко, контузило, а часть, в которой служил, вперед пошла, не знали: то ли убили его, то ли санитары другой части вытащили из горящей машины. Память на время потерял, говорить не мог. Сколько госпиталей переменить пришлось! Думал, и в живых не останется... А когда подлечился, подумал: заявлюсь-ка я домой неожиданно... И прибавил:

– Вот он я! – улыбнулся и стал прежним Мишуткой.

Окинул взглядом избу, и взор его остановился на люльке, что была подвешена к матице. Встал на костыли, подошел, склонился над ребенком.

– Братик твой... – почему-то шепотом сказала Анна Григорьевна.

– Как зовут?

– Мишей.

Михаил Яковлевич проковылял к лавке, сел и опустил голову. Только сейчас до него окончательно дошло, что в семье его считали погибшим...

Медленно он выздоравливал. Но встал-таки через полгода на ноги, окреп и поступил на работу в колхоз по прежней специальности – трактористом.

Шли годы. Не стало Якова Ивановича. Но рос, набирался сил Миша Маленький. В школу пошел. Михаил Яковлевич женился и вскоре переехал в город, поступил там на работу буль-

дозеристом. А когда Миша Маленький окончил школу, старший брат утянул его за собой, обучил своей специальности. Работали вместе до тех пор, пока не пришел срок идти Мише Маленькому в армию. Когда тот уволился в запас, то поступил на прежнее место, на стройку, женился, получил квартиру, обрадовал бабу Анну внучонком.

...Анна Григорьевна возвращается знакомой дорожкой, все пытается разгадать, чего сыновьям не хватает. Оба живут хорошо, всем обеспечены. Нет, куда-то их потянуло, не сидится неутомленным.

Перед расставанием, за семейным столом, она долго смотрела на своих сыновей и чувствовала, как тепло на сердце при виде двух Миш. У старшего уже седина на висках, лицо, когда-то обезображенное, спокойно и сосредоточенно, и нельзя назвать его некрасивым. А младший ростом с Мишу Большого, только на много лет моложе, чуть пожиже, но все равно они в чем-то схожи. Характерами, что ли? Да, этих, пожалуй, ничем не остановишь, от задуманного не отступятся, своего всегда добьются. Но мать все равно сказала: «Доглядывай, Миша Большой, за братом, молод он еще, горяч». – «Ничего, мать, – засмеялся старший. – Об Ивашковых плохого слова еще никто не сказал и не скажет. Я – Миша, он – Миша, значит каждый из нас в квадрате, за двоих трудиться и бороться должен. Нас ничто не возьмет. Так говорю, браток?» – обратился он к Мише Маленькому. Тот согласно кивнул.

«Пусть, у каждого своя судьба, – думает баба Анна. – А я свой век доживать буду здесь – никуда не поеду».

Правда, скучно в Полянках зимой. Ходят по-над домами белые вьюги, порошат колючим снегом, засыпают пути-дороги. И только утром, когда утомонится метель и поднимутся в небо сизые дымки из труб, можно догадаться – и здесь продолжается жизнь.

Но ведь снова придет стремительная весна, заклокочет-забурлит Желтая речка, запестреют берега ее ранними цветами, а потом попрут вода, снова сделается чистой и прозрачной, выплеснутся белой кипенью черемуховые заросли, и тихим вечером там враз ударят соловьи – да так громко! – будут отрываться от ветвей белые лепестки и неслышно падать в воду: оттого в это время вода будет чуть-чуть горчить и пахнуть черемуховым цветом.

Только некому ломать цветущие ветви черемухи. К кому их носить, кому дарить? Но все равно в это время не у одной старой женщины тревожно забьется сердце – ведь в черемуховую пору гремели соловьи и в те далекие годы, когда каждая из них была молодой, и вся жизнь была впереди, и любовь была вместе с ними.

Да ведь недаром весну сменяет лето, а там и осень... Стихнут соловьиные трели в округе, зарастут берега высокой и густой травой; утренняя роса засверкает уже на летних цветах; вечерняя тишина опустится на село, потемнеют окрестные леса, и лунный свет ляжет на уснувшую деревушку.

Грибные тропки проторят бабы в лесу по утренней росе – с ними и Анна Григорьевна. И далеко будет разноситься, как и в молодые годы, протяжное, «ау-уу!».

А однажды баба Анна вернется домой – и тотчас же остановится, пытаясь унять волнение, – возле ее избы необычное оживление: наверно, приехала которая-нибудь из невесток и привезла с собой внучат. И опять Анна Григорьевна скинет со своих плеч добрый десяток лет, выпрямится и не почувствует под собой земли – заспешит к дорогим гостям. И снова она не одна, снова дом ее наполнится детским смехом, веселой возней. Да разве остается человек один, если есть у него живые отростки?..

## ВАЛЕНТИНА МИШАНИНА

(1950)

Родилась в мокшанском с. Адашеве (Адаж) Инсарского (ныне Кадошкинского) района Республики Мордовия в семье крестьянина. В школьные годы ее стихи и рассказы печатались в журнале «Мокша». Истинное призвание нашла в прозе. Студенткой Литературного института в 1972 г. выпустила первый прозаический сборник «Начало пути», куда вошли тринадцать лучших детских рассказов. В последние годы успешно работает в жанре драматургии. Лучшие из них в 2002 г. вышли в книге «Дом без окон». Спектакли по пьесам В. Мишаниной успешно идут на сцене Мордовского национального театра. Произведения В. Мишаниной издавались в Москве, в издательстве «Детская литература», книга «Серебряная ракушка» вышла в Таллинне на эстонском языке. Ее произведения вошли в школьные учебники и хрестоматии.

## Ворота времени

### *Отрывок из повести*

...Бабушка обнимает меня рукой и придвигает к себе. У нее теплая ласковая рука. И я сразу все прощаю ей.

— Я сейчас, Татуня, расскажу тебе сказ про Гароя и Сиям. И тогда уразумеешь, что такое будущее и что такое прошлое...

Про это старый дуб сказывал моему прапрадеду. А тот дуб все сам видел. У деревьев ведь есть душа и глаза тоже. Они все видят и все понимают и долго-долго хранят в памяти то, что увидели однажды.

У большого леса стояла гора. Большая ли, небольшая, только поднимешься на нее, и семь потов сойдет с тебя. Но и на гору не сразу ступишь. Ее кольцом обступал глубокий и широкий овраг. Один склон был крутой и покрыт лесом, а вторым склоном была сама гора.

Овраг сильно зарос кустарником и колючей травой. Сюда не заглядывал ветер, и было жарко от солнца, поэтому тут кишело множество змей, прятались редкие птицы, которые боялись человеческого глаза. А гору народ прозвал Шайтановым кладом. Когда-то на ней стоял домик. Семь ветров обдували домик со всех сторон. Летние дожди так обмывали гору, что каждый камешек искрился на солнце, словно драгоценный.

Жил в том домике мужик по прозвищу Равжаля\*. Да не один он жил, а с дочерью единственной. Нелюдим был Равжаля, редко когда заглядывал в село. А дочь свою прямо-таки взаперти держал, никому не показывал. Люди промеж собой говорили, будто бы он продал свою дочь за три сундука золота шайтану, и как только Равжаля покинет белый свет, рогатый заберет его дочь к себе. Таков, дескать, между ними уговор. Пока же Равжаля закопал сундуки с золотом глубоко в гору да на него еще домик поставил, чтобы никто не украл золото.

Звали его дочь Сиям. Никто ее не видел, а слухи о ней ходили разные. Одни говорили: она безобразна, нельзя ее показывать людям, другие, напротив, сказывали, что, если увидит ее красоту молодец, — умом тронется и ослепнет. Поэтому молодые парни хоть и чесали про нее языки, а на Сиям взглянуть никто не отваживался — свихнуться да ослепнуть никому не хотелось.

---

\* равжаля — черный человек.

Услышал о Сиям такие речи Гарой и начал про нее свою думу думать. И она стала приходить к нему в сон. Хороший был парень этот Гарой, и на ноги скор, и на глаза востер, и сердцем добр. Да был у него один изъян – нет на языке слова. И слышать слышит, а говорить не может. Когда он был еще малым дитем, его напугал медведь, с тех пор и молчит.

Однажды и собрался Гарой глянуть на дочь Равжаля. Знать, смелый был парень, если не побоялся ничего. Дошел до леса, спустился по тропке и остановился на склоне оврага: оттуда домик виден как на ладони. Стоит домик как и нежилой, вокруг ни души. Сидел, сидел парень на краешке оврага и собрался было уходить. И тут неожиданно распахнулось окошко, и зазвучала удивительная песня. Голос нежный, ласкающий слух. Слова легкокрылой птицей пролетали над оврагом, уносились далеко в лес и там, запутавшись меж деревьев, чистым эхом отзывались из лесной чащи.

<...> Ноги сами повели Гароя к домику. Поднялся он на гору, но тут и затихла песня, что так влекла его. В окно высунулась девичья голова. И в тот же миг Гарой и умом тронулся, и ослеп от красоты девичьей. Да только постоял так долго ли, коротко ли, – и опять он пришел в себя: и ум возвратился, и глаза видят. Во сне Гарой уже видел эту девушку, да там она лица не показывала, все пряталась от него. А сейчас он при ясном солнце видит красоту Сиям: волосы ее словно ржаной сноп на голове, глаза – два березовых листочка с блестящими росинками.

Увидела Сиям Гароя, руками всплеснула от удивления, заморгала глазами – чуть росинки не выпали.

– Чего ты ходишь тут, добрый молодец? Смотрит девушка на него, ждет ответа. И не дождалась.

– Почему молчишь, молодец, аль языка нет? – лукаво опросила она парня, и росинки в глазах озорно заплясали.

Гарой виновато развел руками, кивнул головой, дескать, твоя правда, девица, не могу говорить.

Нехорошо стало Сиям, не хотела она обидеть человека. И тогда она ласково поглядела на него, про себя попросила она у него прощения, а вслух сказала:

– Да пусть тебя это не тревожит, молодец. Был бы в голове ум да в груди сердце доброе. А что хочешь сказать людям – скажут твои дела...

Гарой благодарно поклонился девушке. Рад он, девушка оказалась не только красивой, но и умной.

– Не обижайся, добрый молодец, что не приглашаю тебя в дом как гостя. Не велено мне этого делать. Пошел бы ты поскорей отсюда. Не дай бог, отец увидит, не сдобровать нам с тобой. Не любит он, когда к нам люди заглядывают.

Не хотелось Гарою покидать Сиям, ох, как не хотелось. Но раз девушка просит, значит, надо уходить. Спросил бы он, почему она так боится отца родного, да не может. Поклонился Гарой девушке, повернулся и пошел под гору. Но вот его окликнула Сиям, и сердце его радостно замерло.

– Ой, молодец, я и не спросила, как тебя зовут, – сказала она, но вспомнила, что парень-то нем, и огнем запылало ее лицо.

Гарой одними губами прошептал свое имя. И Сиям повторила за ним вслух:

– Га-рой! – она засмеялась, лицо ее засветилось радостью, две ямочки заиграли на ее щеках. Засмеялся и Гарой. И повеселела земля, потому что человеческая радость прорастает на ней цветами.

И, кажется, не спускался Гарой под гору, а летел на крыльях. Крылья эти дали ему глаза Сиям, ведь она провожала его взглядом. Поднялся он на крутой склон оврага, а уходить не стал, спрятался за дерево. Он надеялся еще раз увидеть Сиям хоть издали. Только Сиям тут же захлопнула окошко и больше не показывалась. Сразу омрачилось все вокруг. Тревожно зашептались листья деревьев, будто передавали друг другу какую-то недобрую весть. И вот, наконец, Гарой увидел, как по склону поднимался к своей избе Равжаля. Захлопнулась за ним дверь, и опять наступила тишина.

Зарябило в глазах Гароя от темноты, исчезла изба с его глаз. Возвращался парень домой, нет на языке его слова, зато в груди его рождалась песня. Не вмещается в груди его песня, рвется на волю. Вдруг ему показалось, что внутренний голос разорвал грудь его, и радостный крик раздался по лесу. Гарой почувствовал сладкую муку, будто рождался заново. Боль и радость разливались по его телу. Невидимые нити из его тела уходят в землю, руки его тянутся к небу, звезды притягивают его к себе. Он шел, и – радостно вторили его голосу листья деревьев, даже ночные птицы запели свое восхваление солнцу.

Долго Гарой ходил по лесу. Не скоро заметил парень, что кружит он по одному и тому же месту, ходит вокруг горы по Шайтанову оврагу. И вот пришла к нему усталость, будто кто тяжелые бревна подвесил к его ногам. Глянул парень налево, глянул направо – кругом темный лес. Глянул вверх – там звезды весело подмигивали ему, дескать, что ты, парень, оплошал, мы ведь покажем, тебе дорогу. Догадался Гарой, что кружит по Шайтанову оврагу. Давно ему пора быть дома, а он ходит тут как слепой. Больше не даст себя обманывать тропкам, что кольцами обвивают овраг. Вот тонкими жилками разбегается тропинка на множество тропок, а ему надо держаться всегда левой стороны. Да что стоит ему пройти Шайтанов овраг! И Гарой прибавил шаг. Только не тут-то было, видать, опять свернул не туда, не выходит он из леса. И заспешил еще больше. Взмок весь, хоть рубашку выжимай, а сердце бьется так, словно за ним стая волков гонится. «Неужели рогатые меня водят?» – подумал Гарой и стал ругать шайтанов. Ему даже показалось, что кто-то за его спиной хихикнул. Он не остановился, а то черти подумают еще, что он устал, и еще пуще будут смеяться над ним. Но усталость одолевала его, тяжесть разливалась по всем его членам. Гарой готов был уже опуститься на землю, и тут увидел перед собой огромные ворота. У ворот стояли две девушки, каждая из них держала в руках светящуюся звезду, сами они были одеты во все белое. Обе отступили немного от ворот, и одна из них обратилась к Гарою:

– Входи, парень. Ты обошел Шайтанов овраг сорок раз и дошел до Ворот Времени. Коль в прошлое хочешь – пройди налево, коль в будущее – пройди направо.

Гарой стоял растерянный, он никуда не хотел. И тогда заговорила вторая девушка:

– Что раздумываешь, молодец? Жалеешь с сегодняшним днем расстаться? Не жалей. Счастье у людей всегда в прошлом или в будущем. В настоящем они не могут ни ощутить вкус своего счастья, ни оценить его.

Нет у него в прошлом Сиям, а до будущего они доживут вместе.

Подумал, подумал Гарой и пошел прочь от Ворот Времени.

После того, как пропели третьи петухи, он вышел к наезженной дороге. Не пропало желание парня снова увидеть Сиям. Пусть

плутал он всю ночь, зато узнал, что есть Ворота Времени. И если захочет он, то вернется в свое детство. Всегда он этого хотел. Но сейчас у него единственное желание – поскорее увидеть Сиям.

Вот уже заря возвестила о рождении нового дня. Пастухи сыграли на рожках свою хвалебную песню утреннему солнцу. Первый солнечный луч коснулся лица Гароя, и он встал на ноги, будто и не ходил всю ночь по лесу. Светлый день принес ему светлые надежды. Он снова отправился к Сиям.

Остановился Гарой на склоне оврага, прислушался. Из открытого окна домика уже лилась песня. <...> Сиям увидела парня в окошко и умолкла. Подошел Гарой ближе и видит: глаза у девушки грустные-грустные.

– Эх, Гарой, Гарой, не надо было приходить тебе сюда, – говорит Сиям. – Вчера вернулся отец, злой-презлой. Вроде и не видел тебя здесь, а про все знает. Он и по лицу угадывает, поглядит на тебя и скажет, какая дума у тебя в голове. Так и пригрозил мне: «Если еще раз увижу здесь Безъязыкого, не сносить ему головы». А я во сне видела тебя, будто слово появилось у тебя. И ты обо всем, обо всем мне сказал... Я руками трогала твои волосы... Утром отец поглядел на меня и потемнел в лице, угадал, что у меня в голове. Я как раз думала о своем сне. Отец сказал, что у меня нет стыда. Он правду сказал. Я не знаю стыда. Люди, наверное, стыдятся друг друга. Я же не вижу людей, и мне некого стыдиться. Теперь тебя вот узнала, отец и тебя гонит. Опять я останусь одна, совсем одна... Я тебя никогда бы не стала гнать...

Рад Гарой ее признанию. Он хочет вымолвить ей: все будет хорошо, он не боится ее отца, что скоро он заберет ее в село. Пусть напрасно не печалится.

Сиям смотрит на Гароя и понимает его, что не вымолвили уста его, высказал он глазами. Она забывает про отца, и доброй улыбкой засветилось ее лицо. В этот день опять множество цветов появилось на земле.

И не заметили они, как пролетело время. Солнце повисло над далеким лесом, уходит спать. Сиям вышла проводить Гароя.

– Поспеши, Гарой, лес тебе надобно пройти засветло.

Да только Гарой не послушался Сиям, лег под дерево и поглядывает на окошко домика: не покажется ли Сиям. И он несказанно рад был, когда Сиям выглядывала в окошко.

Вот опустилась темнота на землю, как будто множество черных пылинок зарябило в воздухе. И тогда парень пошел домой.

Идет Гарой по лесу и думает свою светлую думу. До сегодняшнего дня он жаловался Мастораве<sup>\*</sup>: почему она лишила его слов. До сегодняшнего дня он считал себя горе-человеком. А сегодня, оказалось, счастливее его нет на свете человека. «Сиям, Сиям...» – звучало в его груди. И деревья шелестом своих листьев повторяли за ним имя его любимой. И добрый ветер мчит над лесом имя: С-си-и-и-я-ам!..

Не скоро догадался Гарой, что и сегодня кружит он по Шайтаиову оврагу. Черти опять вздумали водить его за нос. Нет уж, сегодня он не даст себя обманывать нечистым. До третьих петухов поспит он под деревом, а там, как пройдет шайтанова сила, выйдет из леса. Лег Гарой под ветвистым дубом и стал ждать, когда придет к нему сон. А сон все не шел к нему, видеть, потому, что сначала надобно было с кем-нибудь поделиться своей радостью. Увидел парень под листком папортника светлячка, положил его к себе на ладонь и принялся шепотом рассказывать о своем счастье. Говорил он и про то, что неправду сказывали девушки у Ворот Времени, будто в настоящем человек не может ощутить вкус истинного счастья.

И вот тяжестью наливается тело парня, глаза слипаются, еще чуть-чуть и уйдет он в царство сна. Но вдруг он слышит над собой голос: «Гарой, не туда ты тропку торишь. Забудь сюда дорогу, иначе не сносить тебе своей бедовой головушки!» Открыл Гарой глаза, огляделся вокруг – никого не видно. Не испугался он, а на душе у него тревожно стало. «Кто же так пугает меня? Может приснилось?» – подумал он.

До третьих петухов не смыкал он больше глаз, а пропели те, пошел домой. Вскоре и забыл про слова, что слышались ему ночью.

Не отпускала его мать из дома на третий день. Брала она сына за руку и уговаривала не ходить в лес, сон ей приснился худой. Тогда Гарой взял в руки лопату и отправился в поле.

---

\* Масторава – богиня земли.

Только не стал он работать там, воткнул лопату поглубже в землю, сам же помчался в лес. Со склона оврага он увидел у открытого окошка Сиям, и сердце его так забилося от радости, словно хотело вырваться из тесной груди и влететь к ней в окно.

Красное зарево показалось над лесом, вот-вот выглянет солнце.

По знакомей тропке Гарой спустился в овраг и стал подниматься на гору к дому Равжали. Сегодня он дождетя хозяина, растолкует ему, что любит Сиям, и, когда поспеет новый урожай, они сыграют свадьбу. Идет Гарой, поспешает... и не видит он, как катится на него с горы огромный камень. А когда он вскинул голову, успел увидеть дольку солнца, и тут хрустнули под камнем его кости. Взорвалась долька солнца, и запылало перед его глазами все небо.

Потемнел от горя лес, заплакал ветер, словно стая волков завывала. Забили тревогу птицы: закричали, захлопали крыльями. Солнцу, Великой богине Солнцу, стало стыдно, что не может помочь парню, и закрылась она тучкой. Услышала Сиям вой ветра, тревожный крик птиц, и вдруг, будто молния полоснула ее в самое сердце. Она выбежала на гору и видит, как воровато бежит ее отец в лес. Понеслась Сиям под гору, нашла она Гароя под камнем, и сердце ее разорвалось надвое. Тонки ее девичьи руки, но откуда-то в них взялась сила, она богатырским махом столкнула камень, и тот покатился дальше.

Не вздохнуть Гарою – грудь раздавлена, не поднять головы – голова разбита. Но открылись глаза его, и он увидел над собой Сиям. Раскрылись уста его, и от радости великой, что видит в этот час Сиям, появилось на его языке слово.

– Сиям, вынь мое сердце, пока не остыла грудь. В полночь с моим сердцем сорок раз обойдешь Шайтанов овраг и дойдешь до Ворот Времени. Там, за Воротами, мы всегда будем вместе.

Так и поступила Сиям. С живым сердцем Гароя в полночь она отправилась к Воротам Времени. Всякие козни на их пути устраивал Равжаля. Сначала продал он за три сундука золота дочь свою шайтану, теперь за это же золото хочет вернуть ее. Но даже черти не в силах были сбить ее с пути. Сиям всегда выручало сердце Гароя. Задумают рогатые свалить на нее большое

дерево, а сердце Гароя все заранее чувствует и предупреждает девушку: «Обойди, родная, это дерево, шайтаны видят под ним нашу смерть». Или закроются от усталости глаза Сиям, а сердце опять говорит: «Не засыпай, родная, недалече осталось».

Дошли они до Ворот Времени. Встретили их там те же девушки. И пропустили их в Ворота по одному. Сначала Сиям отравила душу Гароя. И душа пошла в прошлое. Сиям забыла спросить Гароя, в какое время он пошел. И сама Сиям прошла в будущее.

Ищет Гарой в прошлом Сиям и никак не находит. А Сиям ищет Гароя в будущем и тоже не находит.

Так до сих пор и ищут две души друг друга и не находят. Потому что владыка Времени не пускает их друг к другу.

Из лесу мы возвращались молча.

– Бабушь, о чем это ты задумалась? – спросила я.

– Да о том, Татуша, почему мы сами идем по дороге, а не дорога несет нас.

– А я думаю о душе Гароя. Ты говорила, что сначала его душа вошла в Ворота, потом Сиям. Как же душа вошла, если ее до сих пор несли? – все недоумевала я.

– Хорошо, что думаешь о душе. А душа человеческая все может: и ходить, и летать, и горевать...

## РАИСА ОРЛОВА

(1963)

Родилась в с. Сарга Старошайговского района Мордовии в многодетной семье рабочего и служащей. Писать стихи начала еще в школе. Произведения этого периода посвящены матери, школьной дружбе, первой любви. Однако началом литературной деятельности сама поэтесса считает 1980-е гг., когда ее стихи систематически стали публиковаться в республиканских газетах и журналах, в коллективных сборниках. Она проявила себя умелым переводчиком на мордовский-мокша язык произведений финно-угорских и русскоязычных писателей. Р. Орлова – член Союза писателей России с 1998 года. Заслуженный работник культуры Республики Мордовия.

### Рябиновый венок

Подкралась осень вдруг неслышно, словно тать,  
И умерли цветы, поблекла неба просинь.  
Рябиновым венком меня короновать  
Решила неспроста под листопадом осень.  
И красного вина, с горчинкой, поднесла...  
Брось, ветер, причитать – не за горами стужа...  
На берегу реки лежит кусок весла.  
Ты, осень, погоди, мои стихи послушай.  
Ошибки тяжелы, я знаю их сама,  
Ночь – ворона черней, и муки – всё весомей:  
Стихи – о том, как вдруг Любовь сошла с ума,  
Споткнулась о сердца в пустом и стылом доме.  
Уйми свой листопад и мне подругой будь –  
Не нужно твоего ни серебра, ни злата.  
Коль жизнь и в небе есть – веди туда, мой путь,  
Дорога и туда от лун и звёзд крылата!  
И диким гусям я доверю свой венок,  
Чтоб в небо унесли на крыльях за мгновенье!  
Любовь ещё больна, ты дай мне, осень, срок:  
Ей, брошенной, найти пытаюсь исцеленье...

*Перевод С. Макарова*

### ЛЕОНИД СЕДОЙКИН

(1958)

Родился в эрзянском селе Кабаеве (Кобале) Дубёнского района Мордовии. В 1982 г. окончил мордовское отделение филологического факультета Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва. Преподавал в школе, работал литсотрудником детского журнала «Восход», редактором отдела прозы журнала «Искра». Его произведения публиковались в еженедельнике «Литературная Россия» (Москва), в журналах Мордовии «Сятко», «Мокша», «Странник». Автор сборников коротких рассказов, лирических миниатюр, юморесок, литературных сказок «Авань моронзо» («Песни матери», 1991) и «Эрямо» («Жизнь», 2008). Живёт в родном селе. Руководитель фото- и литературного кружков в школе.

## Жалость, радость и снова жалость

### Рассказ

Для всех учителей лето кончается по календарю – первого сентября. А для меня оно тянется до тех пор, пока не польют дожди. Пока небо не станет беспросветным изо дня в день и не будет никакой надежды на прояснение.

И вот я заметил, что не я один что-то теряю с каждым уходящим днём. Ещё одна учительница. Уже не та улыбка, не тот смех. И кажется, что лицо и глаза её выцвели, поблекли. Наверное, также живёт без радости.

Я решился и принёс ей цветы. Три белых хризантемы. Как школьник. Какая-то немота воцарилась в учительской. У самой девушки краска залила шею и лицо.

– Спасибо, спасибо, – не глядя на меня, повторяла она.

А дни всё короче, и теперь уже недалеко до дождей.

Принёс цветы ей домой. Едва переступил порог, как она снова вспыхнула до корней волос. И забегала, засуетилась, словно дорогие гости пожаловали к ней. Взяла цветы. Всплеснула руками:

– Вай, спасибо, спасибо. Чем же отблагодарить тебя за твоё добро? Даже бутылку не припасла.

Я стоял, не зная, куда деваться.

## АЛЕКСАНДР ШАРОНОВ

(1942)

Родился в с. Шокша Теньгушевского района Мордовии. Доктор филологических наук, член Союза писателей России, поэт, прозаик, фольклорист, литературовед и критик. Широкую международную известность А.М. Шаронов получил как автор эпоса «Масторава», написанного на основе эрзянских и мокшанских мифов, эпических песен и сказаний и вышедшего на трех языках: эрзянском (1994), мокшанском (2001) и русском (2003, 2010).

### Масторава

#### Отрывок эпоса

Кудадеевское поле,  
На красивый древний мастор  
Из-за гор назад вернулись,  
Муки одолев, эрзяне,  
Горе пережив, мокшане.

Стали жить на новом месте.  
Стали жить, расти, плодиться,  
Наполнять собою земли  
И по селам расселяться.  
Семьдесят семь лет прожили –  
Семьдесят сел заселили.  
Как минули эти годы,  
Вновь без азора остались,  
Вновь правителя не стало.  
Умер Текшонь – их спаситель,  
Внук заветный Кудадая.  
Снова думают эрзяне,  
Как им дальше жить, гадают.  
Об инязоре их мысли,  
О правителе их думы.  
Думы думают, гадают –  
Путаются мысли, чувства,  
Сокровенные желанья.  
Не найдут основу жизни,  
В чем она, понять не могут.  
Начали они ругаться,  
Стали меж собою драться.  
Каждый день бранится эрзя,  
Каждый день дерется мокша.  
Головы друг другу крушат,  
Из носов кровь выпускают.  
Нет у азора у эрзи,  
Знатока устоев жизни;  
Нет правителя у мокши,  
Нет хранителя порядка.  
Почему они дерутся?  
Почему они бранятся?  
Поделить леса не могут.  
Разделить луга и пашни  
Без скандала не умеют.  
Перестанут они драться,  
Бросят попусту браниться –  
Снова думают, гадают,  
За какое дело взяться,  
По какой идти дороге.

Семь старинных сел на Раве  
Собрались на сход великий.  
Семи сел семь мудрых старцев,  
Знатоки законов жизни  
Жителям семи селений  
Стали говорить с печалью:  
– Слушайте нас, семь селений,  
Вы, семи селений деды:  
Для чего мы так бранимся,  
Для чего мы так деремся –  
Головы друг другу крушим,  
Лица и носы кровавим?  
Потому мы так бранимся,  
Потому мы так деремся:  
Нет хозяина у Эрзи,  
Нет правителя-тюштяна.  
Поделить леса не можем.  
Разделить луга и пашни  
Без скандала не умеем.  
Гибнет Мастор, пропадает  
Без правителя-владыки.  
Азора поставить надо.  
Изберем давайте, люди,  
Инязора-каназора.  
Он поделит наши земли,  
Прекратит скандалы, драки.  
Кто стать может инязором?  
Кто правителем быть может?  
Ходят, ищут человека  
В инязоры-оцязоры.  
Ищут старика такого,  
Кто законы жизни знает,  
Кто дела вести умеет,  
Кто держать порядок может.  
Походили, походили,  
Поискали, поискали –  
Нет такого человека,  
Кто в инязоры годится,  
Кто в правители подходит.  
– Дайте-ка наварим пуре,

С хлебом-солью стол поставим  
И помолимся мы Пазу,  
Помощи себе попросим...  
– Пазчангот, Инешкипаз!  
Пазчангот, небесный Паз!  
Где ты родился, Шкипаз?  
Где ты вырос, Инешки?  
На земле твоей о том  
Слово молвить некому;  
Под луною-месяцем  
Все о том не ведают.  
Истинный Паз, Инешки,  
Всеми почитаемый,  
Как ты Мастер сотворил  
Светлым своим разумом,  
Лес и травы вырастил;  
Как ты небо сотворил –  
Создал солнце и луну:  
Солнце – ясным днем светить,  
А луну – сиять в ночи.  
Как велел им, так они  
Дело свое делают,  
Слову твоему верны.  
Твое слово им – закон.  
Ровен тихий их полет:  
Ни быстрее, ни медленней  
Над землею не летят.  
Землю ты водой покрыл.  
Океаны и моря  
В доли низкие налил.  
В океаны и моря  
Ты три рыбы, Паз, пустил,  
Чтобы землю им держать,  
На себе ее нести  
На ее трех сторонах.  
А потом всю землю, Паз,  
Ты зверями населил:  
Волки, овцы, кабаны,  
Куницы пушистые  
Ходят по ее лесам,

Бродят по ее полям...  
Но не дал ты Мاستору  
Доброго правителя,  
Мудрого инязора,  
Знатока обычаев,  
Жизни устроителя.  
Инешки, кормилец наш!  
Шкабаваз, родитель наш!  
Имя твое вспомнили,  
Поклонились ниц тебе;  
На платочки белые  
Положили хлеб и соль;  
В честь тебя зарезали  
Голубую курочку;  
В честь тебя мы принесли  
Сдобные лепешечки  
И яички желтые.  
Инешки, кормилец Паз,  
Посмотри с небес на нас.  
То, что делаем, – увидь,  
То, что говорим, услышь,  
То, что просим, – вволю дай;  
Защити от зла и бед;  
Просим урожая мы,  
Лошадей, коров, овец,  
Всем здоровья доброго  
И больших полезных дел;  
Мы боимся злых людей  
С поступью тяжелою,  
С мыслями недобрыми,  
С ведьминными взорами;  
Береги от колдунов,  
По небу летающих,  
Нас ума лишаящих;  
Прогони нечистых прочь,  
Жилы ног нам режущих,  
Злую весть вещающих,  
Сглазом поражающих...  
Всех ты их, Инешкипаз,  
Выше древа подними,

Головой вниз опусти  
И о землю так ударь –  
На семь сажен в глубину  
Пусть они войдут в нее...  
Собрались эрзяне вместе,  
Чтоб правителя поставить.  
Без правителя жить плохо.  
Без него одни несчастья.  
– Мы кого поставим править?  
Мы кого назначим старшим?  
– На кого сам ковш покажет,  
На чью сторону укажет  
Его ручка в бочке пуре,  
Тот правителем пусть будет,  
Тот страной пусть управляет.  
Собрались все в одном месте,  
Вокруг бочки пуре встали.  
Перед кем остановился  
Ковш, жрецом заговоренный?  
Ни пред кем не встал он ручкой,  
Никого он не приметил.  
– Знать, среди нас нет человека,  
Знать, на сход тот не явился,  
Кто правителем стать может,  
Кто быть может инязором,  
Инязором, эх, тюштяном,  
Нам свой образ придающим,  
Учащим, как жить на свете,  
Знающим законы жизни.  
Лет семидесяти старец  
Встал на сходе перед всеми  
И сказал, что надо делать:  
– В дикое идите поле,  
В необжитый край пойдите.  
Там найдете хлебопашца,  
Встретите там хлебороба.  
Он вам будет инязором,  
Он вам станет каназором.

# ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

## ФАТИХ АМИРХАН

(1886 – 1926)

Родился в Ново-Татарской слободе в семье имама мечети «Иске Таш». Учился в одном из популярнейших по тому времени медресе «Мухаммадия». В 1905-1907 гг. работает секретарём журнала «Воспитание молодежи» в Москве. В 1907 г. организует в Казани еженедельную газету «Эль-Ислах». С 1912 по 1917 гг. руководит националистической газетой «Солнце», пишет в литературно-художественном журнале «Анг» и юмористическом журнале «Ялт-йолт». Дружил с поэтом Габдуллой Тукаем. Жизнь Ф. Амирхана была полна нравственных исканий, сомнений, разочарований. Писатель питал большие надежды на революционные преобразования в России. В культурном возрождении татар Амирхан был убежденным западником.

### Татарка

#### Рассказ

*Посвящается девушкам мусульманского Востока,  
не желающим быть погребенными заживо.*

*Фатих*

Родилась девочка... Она была такой же, как все человеческие существа: в ее воле было шевелить руками, ногами, вертеть головой, смотреть, куда захочется, и никто на это не мог наложить запрета.

Правда, иногда ее пеленали и принуждали не двигаться. Но она могла протестовать: плакать, кричать, и свою решимость никому не позволять отнимать у нее свободу она могла выразить тем, что прямо смотрела в глаза своим притеснителям.

Когда она родилась, она была человеческим существом: могла улыбаться, показать, что она радуется нежданно открывшейся перед ней жизни; вольна была противиться и тем самым выказать, что она может желать чего-то или не желать и что сама природа дала ей силы для сопротивления.

Родилась девочка... Ее, как и других детей, положили в колыбель; мать и отец дали ей место в сердцах своих рядом с сы-

новьями. Девочка жила в той же комнате, где мальчики, ее носили и водили по тем же улицам, по которым ходили мальчики, ее грело то же солнце, которое согревало и мальчиков, она мерзла от той же стужи, что и мальчики; как и мальчики, она могла свободно думать о том, что ей приходило, в голову, наравне с ними могла воодушевляться и переживать то, что занимало ее мысли, ее разум, трогало ее сердце.

Щедрое солнце озаряло и ее золотыми лучами, теплый ветер приносил и ей нежные запахи весны, юные цветы ласкали и ее взор – природа подносила ей те же дары, что и другим существам.

Родилась девочка... Она была живым существом. Но с шести лет какая-то темная сила на своем тайном судилище приговорила ее за совершение никому не ведомого греха к смерти и принялась медленно душить ее, душить в тисках какой-то безжалостной машины до тех пор, пока не будет выжата последняя капля жизни; она приказала заживо зарыть татарку в могилу, прежде чем перестанет биться ее сердце и остынет тело.

Девочке исполнилось шесть лет. Братья иногда обижали ее – то ударят, то дернут за косичку. Как и всякое живое существо, она могла противиться насилию: ударят – ответит тем же, за косичку дернут – укусит обидчику палец, расцарапает лицо. Но темная сила, осудившая татарку на смерть, не могла допустить, чтобы жертва ее обладала подобной свободой, и заставила живую куклу, именуемую матерью, передать татарке свое повеление:

– Девочке драться с мальчиками неприлично!

С этого дня девочке было велено защищаться от притеснения братьев, лишь прибегая к покровительству других.

Неопытную девочку обманули. Она не знала, что была приговорена к смерти и что с этого первого запрета началось исполнение вынесенного ей смертного приговора.

Девочке исполнилось семь лет... Прежде она могла бегать по улицам вместе с мальчиками, с такими же детьми, как и сама. Но темная сила не желала, чтобы ее жертва пользовалась такой свободой. Живая кукла (мать девочки) повторила, как попугай, повеление темной силы:

– Девочке играть с мальчиками неприлично!

Девочка не могла поверить запрету, противному человеческой природе, жизни, свободе, гуманности. Тогда темная сила заставила отца татарки повторить приказ:

– Девочке играть с мальчиками неприлично!

Недоверие татарки было поколеблено. Окружавшие ее люди повторили то же самое:

– Девочке играть с мальчиками неприлично! Теперь татарка поверила, ибо думала, что люди желают ей добра. Но жизнь решила защищаться. Ей казалось, что она победит врагов, если вызовет их на суд разума.

– Почему? Почему неприлично? – спросила жизнь. Татарка молчала. Вместо нее ответила темная сила:

– Так повелели отец, мать, дед и бабка!

Жизнь поразилась. Она не думала услышать столь бессмысленный, бесчеловечный ответ. Темная сила торжествовала, словно в праздник: она победила. Своей жертве, татарке, она вручила маленьких мертвых кукол.

Разлученная с другими детьми, лишенная вольного воздуха, свободы, девочка брала в руки проклятые подарки темной силы и разглядывала их с недоумением. Она не знала, зачем они ей.

Темная сила подослала к ней живых кукол, именуемых «сестра», «мать», «бабушка», «тетка», и заставила их обучить девочку игре с куклами неживыми. Живые куклы были искренне убеждены, что играть надо, подражая их жизни: ходить в гости, выдавать невест замуж, принимать молодицу, делать подарки сватам... Истинного смысла всех этих действий татарка еще не понимала. Но девочке, для которой считалось неприличным играть с мальчиками, не оставалось других игр, и она принялась играть со зловещим подарком темной силы.

– Эта кукла – мальчик, а эта – девочка. Кукла-мальчик берет в жены куклу-девочку; свадьба, приехал жених, прибыла невеста, пришли гости...

Татарка все играет, играет да играет... Темная сила, притаившись в углу, наблюдала за татаркой с усмешкой.

– Это ты готовишься к будущему: такова твоя будущая жизнь.

Татарку отдали учиться к абыстай – жене муллы. У девочки возник вопрос: «Почему мальчиков Гали, Вали и Биктемира отдали учиться в школу, а меня повели к абыстай?» Но темная сила пришла в ярость:

– Девочкам учиться с мальчиками нельзя!

Живые куклы дружно закивали:

– Да, да, нельзя!

Жизнь пыталась защищаться:

– Почему? Почему нельзя?

Живые куклы завопили:

– Потому что стыдно! Неприлично! Неприлично!

Отец с его «мужским разумом» подтвердил:

– Да, да, стыдно!

Жизнь, собрав все силы, снова повторила свой вопрос:

– Но почему?

Отец угрожающе взъерошил короткие усы, живые куклы нахмурились, так сморщились, что люди в страхе разбежались бы, если бы не знали, что перед ними только куклы.

– Как почему?! Да потому что стыдно, неприлично!

Теперь темной силе добиться своей конечной цели было легко: самое трудное она поручила другой живой кукле, учительнице, называемой абыстай, своей давнишней преданной служительнице. Наставница хорошо знала свои обязанности – превратить татарку в такую же живую куклу, какой была сама. Воодушевленная темной силой, вооруженная сорокалетним опытом, она знала короткий и очень легкий путь для превращения татарки в живую куклу; три года разными способами она внушала девочке одну «истину»: женщины – существа совершенно иные, чем мужчины. Девочке эта «наука» уже не показалась странной: ведь она так много слышала об этом от живых кукол дома. Учительница добивалась и большего: все три года она твердила девочке, что женщины – соблазн, грех.

Жизнь гневно запротестовала:

– Неправда! Я не соблазн, я человек! Да, человек!

Вдохновленная темной силой, учительница выложила перед татаркой кучу книг, рукописных и печатных. В книгах было написано, что вся женская половина рода человеческого есть соблазн.

– Почему?

– Так сказано в книгах! – ответила учительница.

Темная сила погрозила девочке кулаком:

– Попробуй не верить старшим! Я тебе!

Татарке исполнилось тринадцать лет... Ей дали бесформенный полосатый мешок, который прячет живых кукол от людских глаз, от солнца, луны и воздуха. Живая кукла, мать девочки, сказала ей:

– Дочь моя, тебе исполнилось тринадцать лет. С этого дня и до самой могилы ты должна накрываться этим с головы до ног!

Рыжебородый отец с короткими торчащими усами подтвердил:

– Закрывайся этим до самой могилы! Татарка ничего не могла понять.

– Почему? – спросила она в отчаянии. Живые куклы прямо не ответили на вопрос и лишь добавили:

– Если встретишь существо с бритой головой и в малахае, называемое мужчиной, закрой лицо краем этого покрывала!

– Но почему? – горестно спросила жизнь. Ответила учительница:

– Лицо твое, волосы, вся фигура – соблазн, а соблазн должно скрывать. Мужчины глядят на тебя с вожделением, и потому ты должна прятаться от них.

Жизнь плакала горючими слезами, она, горемычная, еще никогда не слышала ничего более унижительного. А учительница еще два года стрекотала над ухом татарки:

– Да, мужчины глядят на тебя с вожделением!

Обессилевшая, угасшая жизнь не осмелилась еще раз спросить «почему»: темная сила, оскалив зубы, грозила ей кулаком.

– Тебе пятнадцать лет. Теперь тебе стыдно ходить на уроки и показываться мужчинам! – заявили девочке живые куклы.

Жизнь была тяжко больна – она не возразила. Темная сила между тем повторила свои наставления:

– Ты теперь знаешь, что ты существо, не равное мужчине, ты соблазн, тебе стыдно показываться людям на глаза. Ты узнала все, что тебе полагалось. А знать больше стыдно. Да, неприлично!

Живые куклы и толстопузый отец дали татарке строгий наказ:

– Вот тебе четыре стены, стереги их, они же будут стеречь тебя до тех пор, пока не найдется для тебя животное, именуемое мужем, которому ты будешь служить игрушкой.

Темная сила пояснила:

– Окно в шесть переплетов – твое солнце, пять комнат дома заменят тебе пять частей света: Европу, Азию, Африку, Америку и Австралию; хилые цветы на подоконнике – для тебя сады, поля и леса; затхлая вода в кумгане и в тазу сойдет за реки, озера и моря; спертый воздух, отравленный запахами угля, бараньего сала и благовонного масла, заменит тебе вольный воздух всей земли;

крики, плач и перебранка, которые ты будешь ежедневно слушать дома, заменят тебе музыку; семь или восемь живых кукол и отец заменят тебе полуторамиллиардное население земного шара; науку и философию – плод тысячелетних усилий человечества – заменит тебе «священное» твое невежество.

Жизнь лишь вздохнула. Последним усилием она подвела татарку к окну. Была пятница – священный день. Мимо окна шел кривоногий лавочник. Татарка взглянула на него, а для живых кукол это означало, что она «влюбилась» в него. Лавочник приосанился, сверкнул глазками, «любовно» спросил:

– Почему сидишь одна, красавица?

В субботу девушке уже запретили сидеть у окна, и она только прохаживалась около него. Мимо прошел шакирд, сторбившийся, точно коромысло. Татарка в него тоже «влюбилась». Шакирд ответил: «Брови твои что калям, хурыл гайнем!» («Гурия моя!») (*арабск.*) – и решил сегодня же написать ей любовное письмо на разрисованной цветочками бумаге.

В воскресенье татарка получила приказ: не смей подходить к окну. Она подошла украдкой. Мимо шел сын муллы в кудей чалме на свежeweбритой голове. Татарка «влюбилась» и в него. Сынок муллы поправил чалму, чтобы она выглядела щеголеватей, и, прищурившись, прикинул в уме выгоды женитьбы на дочери бая; он решил сегодня же передать девушке через старуху «любовное» послание.

В понедельник девушка опасливо подкралась к окну. На сытой лошади проехал толстобрюхий бай с сынком. У сынка масляные глазки, шапка набекрень. Девушка «влюбилась» в сынка. Байский сынок подмигнул ей и подумал, что эту девушку, пожалуй, можно сделать своей пятой любовницей. Старый же бай смекнул, что со временем мог бы жениться на ней, сделав ее второй женой.

Но и случайные взгляды в окно, эти предсмертные судороги жизни, вызвали недовольство темной силы. Живые куклы сообщили татарке:

– Ты сосватана за Биктемира, и стать его рабой – твой долг.

«Мудрый» отец повелительно изрек ей свое наставление:

– Воля Биктемира – божья воля!

Темная сила с самодовольной усмешкой объявила:

– Отныне ты избавляешься от мятежницы, называемой жизнью, и становишься живой куклой. Я даю тебе Биктемира, чтобы он играл с тобой. До самой могилы ты будешь служить ему. Вот моя цель.

Отцы – один, продававший живую куклу, другой, покупавший ее для сына, – стали торговаться.

– Ну, уважаемый Зайнетдин, мехер – пятьсот рублей.

– Нет, дорого. Так и быть, возьми четыреста!

– Э, нет, уважаемый Зайнетдин, прибавь пятьдесят!

– Ну, бог с тобой, так и быть, в придачу дам платье, шитое позументом.

Вначале позвали в дом много живых кукол и накормили их. Татарке они нанесли много тряпок, безделушек. Затем позвали толпу глупцов, игрушками которых были живые куклы. Их тоже накормили. Среди них был один человек в чалме; он прочитал молитву, подул на присутствующих. С этой минуты толпа глупцов стала верить, что татарка стала игрушкой Биктемира.

– Ты (имярек) согласен отдать свою дочь за Биктемира, сына Зайнетдина, за четыреста пятьдесят рублей и платье с позументом?

– Отдаю, отдаю!

– А ты, Зайнетдин, берешь татарку сыну своему Биктемиру в жены за четыреста пятьдесят рублей и платье с позументом?

– Беру, беру!

После этого татарку и Биктемира, как полагалось, четверо суток держали взаперти.

Настало время везти татарку в дом мужа. Живая кукла дала ей последнее наставление:

– Дочь моя, слушайся мужа, будь прахом под его ногами!

«Премудрый» отец все твердил:

– Воля Биктемира – божья воля!

Убедившись, что жизнь теперь умолкла, темная сила, глядя на татарку, громко объявила:

– Теперь ты станешь настоящей куклой!

Биктемир запер живую куклу в четырех стенах.

– Вот тебе стены, ты должна стеречь их до самой могилы. А я, когда захочу, приду поиграть с тобой!

Темная сила стояла в углу и поучала:

– Твоя святая обязанность – быть игрушкой мужа и рожать детей, чтобы продолжать на земле род таких же, как вы, глупцов!

Приказ Биктемира был во взгляде его, татарка, исполняя его повеление, склонилась перед темной силой:

– Да, я знаю, хорошо знаю, что рождена только ради этих целей.

Темная сила, приметив, что и теперь не слышно зова жизни, расхохоталась:

– Наконец-то татарка превратилась в живую куклу!

С торжествующим хохотом темная сила вышла из угла на свет.

– Татарка погребена заживо!

А в это время ученики медресе «Жамигыль-Азхар» в Египте, чтецы Корана в стамбульской мечети Айя-София, находящейся бок о бок с парламентом для «защиты» национальных прав, мусульмане Индии, Серендиба, присевшие под коричневым деревом, отшельники-аскеты, ютящиеся по углам медресе в Курсе, мусульмане-паломники среди развалин города Булгары и паломники всего земного шара, собравшиеся в Мекке, повторяли стих из Корана:

– День, когда заживо погребенную девушку спросят, за совершение какого греха она умерщвлена, – есть день страшного суда...

## МАЖИТ ГАФУРИ

(1880 – 1934)

Родился в семье хальфы (учителя) из д. Зилим-Караново Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. По национальности татарин. Классик советской башкирской и татарской литературы, поэзии, фольклорист, драматург. Его творчество является собой подлинную энциклопедию жизни татарского и башкирского народов. В своем творчестве М. Гафури глубоко и ярко отразил жизнь обездоленных людей, беспощадно клеймил средневековые законы ислама, бесправие женщин, воспевал любовь и верность, утверждал дружбу между народами. Благодаря блестящему знанию жизни народа, его быта, легенд и сказаний М. Гафури пластично, но в то же время реалистично сурово выписывает самые сложные психологические ситуации.

## Кто обуздал дурные страсти, тот...

Кто обуздал дурные страсти, тот  
Всего достигнет, далеко пойдет.  
Кто доказать свой добрый нрав стремится,  
Деяньям славным да откроет счет!  
А кто горазд над ближними глумиться,  
Пусть и себя возьмет он в оборот!  
И мнят себя иные Авиценной –  
Из них, конечно, разум так и прет...  
Шарахаясь, плуτούν без дороги  
Те, у которых в головах – разброд.  
Как жалок тот, кто доброе деянье  
Вдруг сотворил, а нынче слезы льет...  
Служи добру, будь истым гражданином,  
Твои дела оценит твой народ.  
Будь гордым, не склоняйся, а иначе  
Тебя хуле подвергнет всякий сброд.  
Пускай враги от зависти сгорают,  
Решимость нас к победе приведет!  
Не суждены ни счастье, ни покой  
Избравшим путь тернистый, но прямой.  
Они живут вселенскими делами,  
Вдали от мерзкой суеты земной.  
Не может быть, чтоб честные дружили  
С беспечностью и праздностью пустой.  
Немыслимо, чтоб честные решились  
Идти по жизни легкою тропой.  
Согнут их не превратности фортуны,  
А только смерть – за гранью роковой.  
Та нация, в которой нет героев,  
Растает вся, как соль в воде морской.  
У нации быть должен предводитель,  
Чтобы идти дорогой столбовой.  
Спешить не надо, можно ведь обжечься,  
От глупой спешки – пользы никакой!

*Перевод В. Ганиева*

## АМИРХАН ЕНИКИ

(1909 – 2000)

Родился в д. Новые Каргалы. Татарский писатель-прозаик, публицист, народный писатель Республики Татарстан. С детства увлекся творчеством и в 1924 г. написал первые стихи под влиянием знаменитого татарского поэта Габдуллы Тукая. С 1953 г. он занимается литературным творчеством как писатель-профессионал. Тем не менее его послевоенная писательская карьера не была легкой. Лишь с наступлением хрущевской «оттепели» отношение к писателю изменилось, и его книги начали издаваться. Знаменитые произведения: повести «Болотный цветок» (1955), «Марево» (1962), «Совесть» (1968), «Воспоминания Гуляндам туташ» (1975), автобиографическая повесть «Последняя книга» (1981-82). Его произведения увидели свет на татарском и других языках бывшего СССР.

### Мать и дочь

#### *Рассказ*

Короткой была первая летняя гроза: живительный дождь прошумел над пашнями и садами, торопливо простучал по пыльным дорогам, и вот уже из-за кромки темно-синих туч, горной грядой протянувшихся в небе, выкатилось, сверкая, молодое утреннее солнце. Свет его был так ослепителен, лучи лились на землю так обильно и щедро, что казалось, солнце даже уменьшилось в размерах и, само обеспокоенное такой своей щедростью, дрожит, колышется в послегрозовом мареве... А небо вокруг него все прояснялось, светлело, словно кто-то стремительно раскатывал свиток тонкого, прозрачного голубого шелка, вытканного золотыми солнечными нитями, и гром из отдалявшихся туч прокатывался по этому шелку, будто ровняя, приглаживая его... Еще не успели упасть на землю последние капли дождя, как возшла радуга; один конец ее широкой дуги уперся в окутанное легким белым туманом хлебное поле у подножья горы, другой, перекинувшись через просторный луг, упал в Сакмару...

...Рахили потихоньку подошла к окну и распахнула его. Прямо под окном росла рябина, упираясь ветвями о бревно дома, и несколько капель скатились с ее листьев, упали на стоявшие на подоконнике цветы. Жемчужный свет мерцающих на деревьях и

на молодой траве дождинок, послегрозовая свежесть сразу наполнили весь дом. От ворвавшейся в комнату струи воздуха колыхнулся белый полог, прикрывавший стоящую в дальнем углу деревянную кровать, и оттуда послышался тихий голос:

– Доченька...

Рахилия, оторвавшись от окна, подошла к кровати, спросила негромко:

– Что, мама?

На кровати за пологом, чуть возвышаясь головою на двух подушках, лежала бледная, исхудавшая старая женщина, мать Рахили. Ее тонкие, обескровленные губы с усилием шевельнулись в слабой улыбке, а полуприкрытые глаза, на которые тоже будто упал солнечный отблеск, потеплели, загоревшись живым огоньком.

– Дождик-то какой, вот божья благодать! – сказала она радостно, и Рахиле послышалось, будто голос у нее такой же, как прежде, как у здоровой...

...Мать болеет давно, тяжело, и знает сама, что ей уже не подняться. Смерти она не боится, готова встретить ее со спокойной душой – отжила свое, что поделаешь... Но всеми силами она стремится отсрочить свою последнюю минуту. Ей надо дождаться сына. Она обязательно хочет увидеть, как вернется с фронта ее единственный сын, как он шагнет, наклонившись под притолокой, в эту низенькую дверь, как подойдет к ней и скажет: «Мама!..» Нет, не простая тоска по сыну удерживает ее от последнего вздоха. Это неосознанное стремление увидеть перед концом в сыне продолжение своей жизни, отдать ему напоследок с безоглядной щедростью все до капли: свое тепло, всю материнскую любовь, которой полна каждая кровинка в ее сердце... Она будто чувствует: нет иной минуты, кроме последней, когда бы любовь матери к сыну могла проявиться так открыто и полно... Если б только был сейчас здесь ее взрослый, возмужавший мальчик... Стоял бы он перед ней, как всегда послушно склонив голову, молчаливый, неловкий от смущения... Она поцеловала бы его в лоб...

Ах, это «если бы»!.. Не закрадывается ли в ее душу сомнение? Она ведь знает, как жестока война, скольких требует жертв. Знает: чьи-то милые сыновья, любимые мужья, чьи-то дорогие и близкие

навсегда остаются на поле боя... Но желание и надежда увидеть сына так сильны в ней, что никакому сомнению не остается места. Как бы тяжело ему ни было, в какое бы пекло ни попал – все равно вернется живым и невредимым. Да-да, так и будет! Это для нее столь же бесспорно, как то, что день – светел, а ночь – темна. Конечно же, ее сын вернется, должен вернуться!..

Эта вера матери невольно передалась в всем окружающим. Рахилия, хотя и помнила, что всякое может случиться, в глубине души была спокойна: ежедневные разговоры с матерью о брате приучили и ее ждать благополучного возвращения Хасана, не предаваясь особым раздумьям и унынию. Как будто он должен был вернуться не с фронта, а из соседнего города, из института, откуда он каждое лето приезжал на каникулы. Лишь иногда она с неудовольствием ощущала эту свою беспечность и, ругая себя, начинала тревожиться всерьез.

...Сегодня двадцать восьмое июня. Брат всегда приезжал из института как раз в это время или в первые дни июля. На ласково-восхищенные взгляды матери и родных он, не дожидаясь расспросов, говорил обычно: «Сдал экзамены пораньше, торопился к вам!»

В прошлом году он должен был вернуться, окончив институт. Но так и не вернулся, не успели они в семейном кругу отметить это радостное событие – прямо из института Хасан ушел на фронт. А в их сердцах до сих пор хранится ожидание этого его возвращения. Уж наверняка мать сегодня вспомнит, как приезжал, бывало, Хасан, и заведет разговор об этом, думала Рахилия...

Стены маленького бревенчатого домика словно раздвинулись от проникшего в комнату теплого сияния омытого дождем, омолодевшего дня. Солнечные лучи, просвечивающие сквозь листья рябины, испестрили стены и пол подрагивающим кружевным узором. Граненая пробка стоящего на столе графина, чайные ложки, воткнутые в узкие прорезы полочки открытого шкафа, ловят эти шаловливо прыгающие лучи и, отражая их, на какое-то мгновение сами вспыхивают как маленькие солнца сверкающим ослепительным светом. Насыщенный свежими, сильными запахами воздух, слоено стремясь поскорее заполнить комнату, отдувает белые занавески на окнах, раздвинутые Рахилей до самых рам, и кажется, будто он нежно, ласково касается лиц матери и дочери, мягко пробегая по комнате.

Матери легко и приятно дышится этим целительным воздухом, и настроение ее поднимается, кажется даже, что болезнь отступает, какое-то спокойное тепло разливается по всему ее старческому, немощному телу...

Рахия, взяв рукоделие, садится у окна. Она, похоже, не собирается первой начинать разговор с матерью. Привыкла сидеть вот так, чуть в стороне от материнской постели, ни о чем особенно как будто не думая. Мысли ее, словно плывущие в вышине голубого неба мелкие, разрозненные облачка, текут медленно, незаметно, не отражаясь на лице...

В доме светлая тишина. В распахнутое окно вдруг влетает расхрабрившийся шершень, и комната наполняется его сердитым, грозным жужжанием. Но шершню, видно, тесно здесь, ничего интересного нет, – сделав круг, он выплетает обратно, и вновь в доме воцаряется тишина.

Наконец мать окликнула:

– Дочка!

– Что, мама?

– Не вспомнишь ли, когда получили от Хасана последнее письмо?

– Сейчас, мама... Десятого получили... две недели прошло.

Мать вздохнула.

– Давно уже... Почему не пишет?

– Он-то пишет, только почта сейчас ходит долго...

Мать не отвечает. Она лежит и смотрит на льющийся из окон свет широко открытыми, ясными, как до болезни, глазами. На лице ее, потеплевшем от золотистых солнечных лучей, сохраняется глубокое, спокойное раздумье, как будто она старается сейчас, пока чувствует себя хорошо и сознание ее ясно, собрать рассеянные, ускользающие мысли, вспомнить все нужные слова...

Вот она взглянула на дочь и снова неторопливо начала:

– Дочка, хочу поговорить с тобой.

– Слушаю, мама...

– Я вот думаю: как увижу Хасана – долго уж не протяну...

– Ну что ты, мама, не надо так говорить. К тому времени, как Хасан вернется, ты совсем поправишься!

– Нет, дочка... Мне до его возвращения дожить – и то великое благо. Только вот боюсь, забуду от радости сказать ему, что хотела...

– Мама, когда он вернется, мы все вместе будем жить еще долго-долго!

Мать улыбнулась слабой своей улыбкой, отразившей и невольное умиление детской наивностью этих утешительных слов, и ясное сознание того, как далеки они от истины... Но она понимала, что дочь утешает ее искренне, и, не желая огорчать ее, сказала, с легким вздохом:

– Кто знает, воля божья, может, еще и поправлюсь... Но все же, дочка, пока помнится, хочу тебе кое-что сказать...

– Слушаю, мама.

Мать секунду помолчала, провела кончиком языка по пересохшим губам и неторопливо, отделяя каждое слово, заговорила:

– После шести дочерей я наконец-то родила мальчика. Он был еще совсем маленьким, когда все мы осиротели... Отец, умирая, завещал растить его и беречь как зеницу ока. И вот мы все вместе растили его... Воспитывали... Учили... Ты ради того, чтобы он мог учиться, выйти в люди, взвалила на себя все заботы по дому, уход за мной, оттого и не вышла до сих пор замуж... И вот мое первое завещание, дочка: пусть Хасан никогда не забывает своих сестер, пусть заботится о них, как обо мне, помогает, чем может. А в тебе, когда меня не станет, он должен видеть родную мать, пусть никогда не забывает труд, вложенный тобою, чтобы сделать его человеком!

– Мама, Хасан любит нас всех. Об этом не беспокойся, сама ведь знаешь, он в нас души не чаял.

– Да, верно. Хасан на отца похож. Отец-то, покойник, слова грубого никому не сказал. Уж такой был мягкий, обходительный. Да, терпеливый был человек, спокойный... Только Хасан ведь еще и жить по-настоящему не начинал... Вот вернется, начнет работать...

В эту минуту Рахилия увидела в окно проходившую мимо почтальоншу Махиру. Не дослушав мать, она вдруг вскочила и торопливо направилась к двери, даже не отдавая себе отчета, зачем она делает это. Обычно легкая да ногу, разбитная, веселая Махира, знавшая, как ждут ее здесь и как приветливо всегда встречают, сама заходила в дом. «Вот, тетушка Хамила, прямо из рук твоего сына приняла!» – говорила она матери громким, веселым голосом и клала письмо ей на грудь. Каждый приход

Махиры был настоящим праздником в этом наполненном печалью и чуткой тишиной доме. И Рахилия, увидев приближающуюся Махиру, никогда не выходила навстречу: с приветливой улыбкой наготове она ожидала ее появления, не отрывая глаз от двери. А вот сегодня почему-то выбежала...

Уже успевшая войти в ворота Махира, увидев Рахилию, крикнула весело:

– Ага, Рахилия-апа, поджидала – как чувствовала! – и с этими словами, вытащив из своей потрепанной кожаной сумки связку писем, она ловко выдернула из нее белый конверт и протянула его Рахиле.

Рахилия взяла в руки этот белый конверт – и тут же ей захотелось отдать его обратно. Рука, надписавшая адрес, была совсем незнакомой, а сам конверт слишком тонким... Однако сомнений не было: письмо на имя матери, на их фамилию. Рахилия попыталась зачем-то сначала прощупать его пальцами и лишь потом торопливо, чувствуя все нарастающую тревогу, надорвала конверт. Оттуда выпала сложенная вдвое желтоватая бумажка. Рахилия развернула ее. В левом углу виднелся неясный штамп. С переставшим вдруг биться сердцем она побежала глазами по строчкам.

«Штаб энского танкового полка настоящим с глубокой скорбью извещает Вас, что Ваш сын, сержант Ишаев Хасан Гильметдинович, пал смертью храбрых в боях за Родину против немецко-фашистских захватчиков 5 июня 1942 года. Место захоронения – Курская область, Рельский район, около деревни Костровка, в братской могиле...»

Рахилия, не дочитав бумагу, сжала ее в кулаке и, повернувшись, пошла в дом.

– Аи, Рахилия-апа, что ж ты ничего не сказала?! От кого письмо, от Хасана, что ли? – закричала ей вдогонку Махира, удивленная, что Рахилия ушла так внезапно, вместо того чтобы разделить с ней радостную весть. Махира, видно, не обратила внимания на конверт...

– Да, от него, – бросила быстро удалявшаяся Рахилия не Махире, а куда-то в сторону. Она как будто торопилась спрятаться от чего-то неизбежного и страшного, что заключалось в конверте. И еще она спасалась от расспросов Махиры. «Погоди-ка, что пишется?» – остановит ее сейчас Махира. И Рахилия скрылась в сенях.

Уже взявшись за ручку двери, она невольно остановилась. Войти в дом, к матери, было все равно что броситься головою вниз в бездонную пропасть. Она почувствовала разом охватившую все ее тело слабость, в глазах потемнело... Но рука между тем непроизвольно сделала свое дело и нажала на дверь...

Чтобы не встретиться взглядом с матерью, она, смотря прямо перед собой, прошла к окну. Мать, не терпеливо ожидавшая ее возвращения, спросила:

– Кто это там был, дочка?

– Тетушка Марфуга, сито приходила одолжить, – вырвалось у Рахили.

Тетушка Марфуга была их соседка... Рахилия сама не знала, откуда пришли эти слова, – только что ей и в голову не приходило обманывать мать, но слова эти вырвались так естественно, что она сама поверила им и повторила их про себя.

Мать проворчала по-хозяйски:

– Надо было сказать, в прошлый раз, мол, брали, а вернули разорванным...

Рахилия не ответила. То, что мать, кажется, поверила ее обману, на какое-то время спасло ее, но ни на секунду не освободило от ощущения непоправимой беды... Она чувствовала, что у нее все похолодело внутри, будто сердце ее дрожало в ознобе, – и если бы мать посмотрела на нее внимательнее, то сразу все поняла бы. И Рахилия боялась пошевелиться, пытаясь разобраться, что творится в ней самой, поймать какую-то все время ускользавшую мысль... Весь беспощадный смысл происшедшего как бы еще не дошел до нее, и она все задавала себе простые и страшные вопросы, сама же отвечая на них: «Хасан умер?» – «Да, умер...» – «Хасан не вернется?» – «Нет, не вернется...» – «Это правда?» – «Да, правда...»

– Дочка, ты меня слушаешь? – донеслись до нее слова матери. Может, уже не первый раз спрашивает... Рахилия полуобернулась к ней, прикрыла глаза.

– Слушаю, мама.

– Так вот... Что я хотела сказать-то? Совсем плохая память стала... Да, вот вернется, бог даст. Поступит на работу. Он ведь не работал еще, только учился... Молодой, неопытный... А там, на работе, с кем только не доведется встретиться. Люди ведь разные – есть хорошие...

Халиме даже показалось, что высокая, прямая фигура сестры стала вдруг еще выше, а на лице ее появилось выражение такой решимости и силы, каких доселе Халима не видывала. Сдерживаясь – по тому, как дрожал голос, заметно было, с каким трудом дается ей эта сдержанность, – Рахилия заговорила тихим, гневным голосом, глядя на сестру прищуренными глазами, в которых загорелись сухие, колючие огоньки:

– Подумала, что делаешь? Не хватает тебе одного горя – надо, чтобы два было? Ты бы ведь ее сразу убила! Не знаешь разве, как она ждет его? Глаз с двери не сводит!.. Нет, мать не должна узнать об этом. Слышишь?..

Халима, невольно подчинившись силе, исходившей от сестры, вся как-то сжалась, закрыла лицо руками и расплакалась, всхлипывая, как безутешный ребенок.

– Сестра, хватит... Слышишь, хватит, говорю! – урезонивала ее Рахилия.

Но Халима никак не могла остановиться и рыдала все сильнее. Рахилия с тревогой оглядывалась по сторонам. Увидев через плетень возвращавшуюся с родника соседку, она схватила Халиму за плечи, встряхнула ее:

– Перестань, говорю! Вон тетушка Марфуга идет. Постарайся сдержаться, прошу тебя, ты же не ребенок...

Халима закусила пальцы, чтобы заглушить всхлипы. Они встали к соседке спиной, будто ведя между собою спокойный разговор. И та, не ведая, что переживают сейчас сестры, медленно прошла мимо. А им эти минуты, пока соседка приближалась и удалялась, показались вечностью...

Как только соседка скрылась, Рахилия мягко сказала:

– Сестра, милая, иди домой...

Халима, судорожно вздохнув, запричитала:

– Хасан, родной, Хасан, где ты?.. – и снова начала плакать.

Рахилия гладила ее по голове.

– Сестра, милая, крепись, надо выдержать... Надо. Не на одну нашу голову такое несчастье... Сестра, послушайся меня, вернись домой, побудь с детьми, приласкай их – успокоишься немного... – И, взяв Халиму под руку, осторожно повела ее к воротам. Халима шагала покорно, обессиленно положив голову на плечо сестры, но уже не плача.

Проводив сестру, Рахилия торопится домой, к матери. Дома тишина, будто ни живой души в нем нет. Только тихо колышутся белые занавески на окнах. Рахилия осторожно подходит к кровати... Мать спит. Заснула, как ребенок, потихоньку оставленный в одиночестве и убаюканный свежим, ласковым воздухом... На ее маленьком, высохшем бледном лице – спокойная безмятежность, будто чья-то волшебная рука стерла с него все следы тревожных, горестных раздумий. Да, это сон ребенка... Рахилия осторожно опускает полог, чтобы мать не потревожили мухи, и, неслышно ступая на цыпочках, снова выходит во двор. Там она садится на траву, привалившись спиной к плетню.

Удивительно, ей не хочется плакать. Слез нет. А она-то думала, что, оставшись одна, не удержится, тут же разрыдается. Может быть, ее слезы еще впереди. Да, наверняка они еще прольются. А сейчас... Кажется, даже если б захотела заплакать – не смогла бы. Слезы высохли внутри ее, не найдя выхода сразу, и в душе осталась как будто одна лишь спокойная, немного щемящая пустота... Но на самом дне ее, где-то глубоко-глубоко, шевелится, разрастается, ноет какой-то комок, к которому опасно притронуться. Этот комок – огромная, беспредельная ненависть. Да, да, сейчас, в эту минуту, Рахилия своими руками могла бы задушить проклятого врага – и ей стало бы легче. Ведь это война, война не на жизнь, а на смерть!

А жизнь должна победить. Не стало Хасана, которого вырастила она вместе с матерью... Хасан, Хасан!.. Но неужто она никого больше не вырастит?! Не будет своего ребенка – станет воспитывать детей сестры... Вместо одного Хасана вырастит десятерых!

Нет, не может Рахилия заплакать в эту минуту, как ни велико ее горе. И земля, которую она ощущает под руками, и солнце, ласкающее своим теплом ее спину, и цветы, и трава, и деревья – все кажется велит ей быть спокойной, утешая своим присутствием здесь, возле нее.

И Рахилия спокойна. Только возле висков ее поблескивают две седые пряди, которые она еще не успела увидеть.

*Перевод А. Богданова*

## ХАДИ ТАКТАШ

(1901 – 1931)

Родился в д. Сургодь Спасского уезда Тамбовской губернии (ныне Торбеевский район Мордовии) в многодетной татарской крестьянской семье. Первоначальное образование получил в медресе родной деревни, затем в соседнем селе Пишля. Во время учёбы начал сочинять стихи в подражание Габдулле Тукаю. Наиболее значительным и талантливым из произведений молодого Хади Такташа по праву считается его известная драматическая поэма «Трагедия сынов земли» (1921). Используя известные мифологические сюжеты, поэт с большой художественной силой гневно восстает против реакционных догм ислама, против мрачных пережитков буржуазно-феодалного общества, страстно призывает к самоотверженной, бесстрашной борьбе за свободу и счастье трудового народа.

### Дочь зари

Пери стройная дочь! Ты зачем на путях моих  
Встала вдруг с огнекрасным букетом в руках молодых?  
Мне цветы эти бросив, дашь раз улыбнувшись мне,  
Ты куда исчезла – сокрылась в лучах золотых?  
Я верхом одиноко вдоль темных лесов проезжал,  
Конь бежал, я же в тайных мечтах витать продолжал.  
Шелковистую гриву блестевшего йотом коня  
Я играючи то заплетал, то опять расплетал.  
Пери нежная дочь! Ты зачем на путях моих  
Встала с адским цветком, пылавшим в руках молодых?  
Мне глазами стрельнув в глаза, ты зачем меня,  
Засмеявшись, оставила в адских печах огневых?  
И когда, молодой и отважный, в лучах заревых  
Счастье я искал, скитаясь в краях родных,  
Дочь зари, о юная Гуль, ты зачем на путях моих  
Счастья алый цветок протянула в руках молодых  
И, губами коснувшись лба, исчезла в огнях золотых?  
А когда я клинок наточил, сражаться решил,  
Оседлав коня, на врагов помчаться решил,  
Перед самым рассветом, из темного леса, тайком,  
Чтоб внезапно напасть, во вражеский стан опешил,

Дочь зари, о юная Гуль, ты зачем на путях моих  
Появилась с тонким кинжалом в руках молодых,  
И, вонзив прямо в сердце мне колдовской кинжал,  
Ты куда-то сокрылась -- исчезла в лучах золотых?  
И зря взошла. И луна ушла. И в мечтах о ней  
Неподвижно жду, задержав коня на краю степей.  
Жду: придешь ты, волшебница зорь, утетишь меня,  
Свой кинжал извлечешь из кровавой груди моей.

*Перевод С. Северцева*

## ГАБДУЛЛА ТУКАЙ

(1886 – 1913)

Родился в д. Кушлауч Казанского уезда Казанской губернии. Первые литературные опыты Тукая частично запечатлелись в рукописном журнале «Новый век» за 1904 г. В этот же период он переводит на татарский язык басни Крылова и предлагает их к изданию. Увлекается поэзией Пушкина и Лермонтова. Такие стихотворения Тукая, как «Шурале», «Пара лошадей», «Родной земле», написанные одновременно с «Не уйдём!», были посвящены теме Родины. К 1908 г. в творчестве Тукая возникает целый цикл замечательных поэтических и очерково-публицистических произведений, в которых исчерпывающе ясно выражено отношение к народу.

### Шурале

*Поэма*

Есть аул вблизи Казани, по названию Кырлай.  
Даже куры в том Кырлае петь умеют... Дивный край!  
Хоть я родом не оттуда, но любовь к нему хранил,  
На земле его работал – сеял, жал и боронил.  
Он слывет большим аулом? Нет, напротив, невелик,  
А река, народа гордость, – просто маленький родник.  
Эта сторона лесная вечно в памяти жива.  
Бархатистым одеялом расстилается трава.  
Там ни холода, ни зноя никогда не знал народ:  
В свой черед подует ветер, в свой черед и дождь пойдет.  
От малины, земляники все в лесу пестрым-пестро,

Набираешь в миг единый ягод полное ведро.  
Часто на траве лежал я и глядел на небеса.  
Грозной ратью мне казались беспредельные леса.  
Точно воины, стояли сосны, липы и дубы,  
Под сосной – щавель и мята, под березою – грибы.  
Сколько синих, желтых, красных там цветов переплелось,  
И от них благоуханье в сладком воздухе лилось.  
Улетали, прилетали и садились мотыльки,  
Будто с ними в спор вступали и мирились лепестки.  
Птичий щебет, звонкий лепет раздавались в тишине  
И пронзительным весельем наполняли душу мне.  
Здесь и музыка, и танцы, и певцы, и циркачи,  
Здесь бульвары, и театры, и борцы, и скрипачи!  
Этот лес благоуханный шире моря, выше туч,  
Словно войско Чингисхана, многошумен и могуч.  
И вставала предо мною слава дедовских имен,  
И жестокость, и насилье, и усобица племен.  
Летний лес изобразил я, – не воспел еще мой стих  
Нашу осень, нашу зиму и красавиц молодых,  
И веселье наших празднеств, и весенний сабантуй...  
О мой стих, воспоминаньем ты мне душу не волнуй!  
Но постой, я замечтался... Вот бумага на столе...  
Я ведь рассказать собрался о проделках шурале.  
Я сейчас начну, читатель, на меня ты не пеняй:  
Всякий разум я теряю, только вспомню я Кырлай.  
Разумеется, что в этом удивительном лесу  
Встретишь волка, и медведя, и коварную лису.  
Здесь охотникам нередко видеть белок привелось,  
То промчится серый заяц, то мелькнет рогатый лось.  
Много здесь тропинок тайных и сокровищ, говорят.  
Много здесь зверей ужасных и чудовищ, говорят.  
Много сказок и поверий ходит по родной земле  
И о джиннах, и о пери, и о страшных шурале.  
Правда ль это? Бесконечен, словно небо, древний лес,  
И не меньше, чем на небе, может быть в лесу чудес.  
Об одном из них начну я повесть краткую свою,  
И – таков уж мой обычай – я стихами запою.  
Как-то в ночь, когда, сияя, в облаках луна скользит,

Из аула за дровами в лес отправился джигит.  
На арбе доехал быстро, сразу взялся за топор,  
Тук да тук, деревья рубит, а кругом – дремучий бор.  
Как бывает часто летом, ночь была свежа, влажна.  
Оттого, что птицы спали, нарастала тишина.  
Дровосек работой занят, знай стучит себе, стучит,  
На мгновение забылся очарованный джигит.  
Чу! Какой-то крик ужасный раздается вдалеке.  
И топор остановился в замахнувшейся руке.  
И застыл от изумленья наш проворный дровосек.  
Смотрит – и глазам не верит. Кто же это? Человек?  
Джинн, разбойник или призрак этот скрюченный урод?  
До чего он безобразен, поневоле страх берет.  
Нос изогнут наподобье рыболовного крючка,  
Руки, ноги – точно сучья, устрашат и смельчака.  
Злобно вспыхивают очи, в черных впадинах горят.  
Даже днем, не то что ночью, испугает этот взгляд.  
Он похож на человека, очень тонкий и нагой,  
Узкий лоб украшен рогом в палец наш величиной.  
У него же в пол-аршина пальцы на руках кривых, –  
Десять пальцев безобразных, острых, длинных и прямых.  
И в глаза уроду глядя, что зажглись, как два огня,  
Дровосек спросил отважно: «Что ты хочешь от меня?»  
«Молодой джигит, не бойся, не влечет меня разбой,  
Но хотя я не разбойник – я не праведник святой.  
Почему, тебя завидев, я издал веселый крик?  
Потому, что я щекоткой убивать людей привык.  
Каждый палец приспособлен, чтобы злее щекотать,  
Убиваю человека, заставляя хохотать.  
Ну-ка пальцами своими, братец мой, пошевели,  
Поиграй со мной в щекотку и меня развесели!»  
«Хорошо, я поиграю, – дровосек ему в ответ. –  
Только при одном условии... Ты согласен или нет?»  
«Говори же, человечек, будь, пожалуйста, смелей,  
Все условия приму я, но давай играть скорей!»  
«Если так – меня послушай, как решишь – мне все равно.  
Видишь толстое, большое и тяжелое бревно?  
Дух лесной! Давай сначала поработаем вдвоем,  
На арбу с тобою вместе мы бревно перенесем.

Щель большую ты заметил на другом конце бревна?  
Там держи бревно покрепче, сила вся твоя нужна!..»  
На указанное место покосился шурале.  
И, джигиту не переча, согласился шурале.  
Пальцы длинные, прямые положил он в пасть бревна...  
Мудрецы! Простая хитрость дровосека вам видна?  
Клин, заранее заткнутый, выбивает топором,  
Выбивая, выполняет ловкий замысел тайком.  
Шурале не шелохнется, не пошевелит рукой,  
Он стоит, не понимая умной выдумки людской.  
Вот и вылетел со свистом толстый клин, исчез во мгле...  
Прищемились и остались в щели пальцы шурале.  
Шурале обман увидел, шурале вопит, орет.  
Он зовет на помощь братьев, он зовет лесной народ.  
С покаянною мольбою он джигиту говорит:  
«Сжался, сжался надо мною! Отпусти меня, джигит!  
Ни тебя, джигит, ни сына не обижу я вовек.  
Весь твой род не буду трогать никогда, о человек!  
Никому не дам в обиду! Хочешь, клятву принесу?  
Всем скажу: «Я – друг джигита. Пусть гуляет он в лесу!»  
Пальцам больно! Дай мне волю! Дай пожить мне на земле!  
Что тебе, джигит, за прибыль от мучений шурале?»  
Плачет, мечется бедняга, ноет, воет, сам не свой.  
Дровосек его не слышит, собирается домой.  
«Неужели крик страдальца эту душу не смягчит?  
Кто ты, кто ты, бессердечный? Как зовут тебя, джигит?  
Завтра, если я до встречи с нашей братьей доживу,  
На вопрос: «Кто твой обидчик?» – чье я имя назову?»  
«Так и быть, скажу я, братец. Это имя не забудь:  
Прозван я «Вгодуминувшем»... А теперь – пора мне в путь».  
Шурале кричит и воет, хочет силу показать,  
Хочет вырваться из плена, дровосека наказать.  
«Я умру. Лесные духи, помогите мне скорей!  
Прищемил в году минувшем, погубил меня злодей!»  
А наутро прибежали шурале со всех сторон.  
«Что с тобою? Ты рехнулся? Чем ты, дурень, огорчен?  
Успокойся! Помолчи-ка! Нам от крика невтерпеж.  
Прищемлен в году минувшем, что ж ты в нынешнем ревешь?»

*Перевод С. Липкина*

## ХАСАН ТУФАН

(1900 – 1981)

Родился в с. Старый Киреметь Аксубаевского района Республики Татарстан в семье крестьянина. В 1914 г. братья взяли Хасана с собой на Урал. Определяющее значение в его образовании имело его обучение в одном из передовых татарских учебных заведений – Уфимском медресе «Галия». В 1918-1928 гг. Хасан Туфан преподает в школах Сибири, Урала, Казани. В 1928-1930 гг. Хасан Туфан путешествует по республикам Закавказья и Средней Азии. В 1940 г. Хасан Туфан был репрессирован. Лишь после смерти Сталина, в 1956 г., поэт возвращается в Казань. Печататься Хасан Туфан начинает с 1924 г. В 20-30 гг. он пишет лирико-эпические поэмы, вошедшие в золотой фонд татарской поэзии («Уральские эскизы», «Между двух эпох», «Бибиевы» и др.). С середины 30-х гг. Хасан Туфан переходит от эпоса к лирике. Многие лирические стихи стали популярными песнями.

### Говорящая материя

*Отрывок поэмы*

Приветливо кланяясь прохожим людям в ноги,  
Задумчива, застенчива, нежна,  
Стоит фиалка у степной дороги,  
Где солнцем даль обожжена.  
– Я очень долго шел. В пыли моя котомка.  
Устали ноги, мучит зной.  
Остановлюсь... Позволь мне, незнакомка,  
Заговорить с тобой.  
Сестренка, не дичись меня, мы не чужие,  
Меж нами близкое родство –  
Ведь я твой брат, ведь мы одна стихия,  
Мы оба – вещество.  
О, сколько раз оно распаду подвергалось,  
Из праха строилось опять,  
Считалось мертвым, в клетки вновь слагалось,  
Чтоб снова жить, дышать!  
Придя из вечности, в круговращенье неком  
В цветков ты превратилась тут,  
А я, как видишь, в то, что человеком  
Здесь, на Земле, зовут.  
Сестренка, не дичись меня, мы не чужие,

Меж нами близкое родство –  
Ведь я твой брат, ведь мы одна стихия,  
Мы оба – вещество.  
Мне сердце хмурое – не знаю, как случилось, –  
Ты ранишь юной красотой.  
Скажи, у солнц, у звезд ли ты училась  
Сиять в глуши степной?  
У молодости есть великое призванье,  
И ты нам говоришь о нем,  
Рождая жизни робкое сиянье  
Лиловым лепестком.  
Ты здесь на родине, среди своих, сестренка.  
Ты не скитаешься, как, скажем, я...  
(Ох, не близка родимая сторонка,  
Вокруг пустынные края!)  
Вот в этой степи, здесь, в разнотравье этом,  
Твой суженый живет,  
Он о тебе шептаться может с ветром  
Иль с мотыльком, – и вот,  
Пыльцой позолотив свой голубой передник,  
Поцеловав тебя в глаза,  
Тебе от милого с полей соседних  
Привет приносит егоза.  
А я... Как далеко с любимой разошлись мы!  
И почему-то никогда  
Она не шлет приветов мне и письма  
Не пишет мне сюда...  
Ей хлещет дождь лицо – она спешит привыкну  
Чтоб даже под осенний вой  
В сиротстве не зачахнуть, не поникнуть,  
Как астра, быть живой.  
Сестренка, не дичись меня, мы не чужие,  
Меж нами близкое родство –  
Ведь я твой брат, ведь мы одна стихия,  
Мы оба – вещество.  
Я брат тех атомов, что здесь свой век векуют,  
Слагаясь в поле, ветер, воду, луг,  
Я сам материя, мой друг,  
Но та, что говорит, поет, тоскует...

*Перевод Л. Морана*

## СИБГАТ ХАКИМ

(1911 – 1986)

Родился в д. Кулле-Киме Царевококшайского уезда Казанской губернии (ныне Атнинский район Республики Татарстан) в семье крестьянина. После окончания школы в начале 30-х гг. приехал в Казань, учился в педагогическом институте, затем работал в Татарском книжном издательстве и редакции журнала «Совет эдэбияты». В 1938 г. выходит его книга «Первые песни» и в том же году его принимают в Союз писателей. Воспитанный на творчестве Габдуллы Тукая, С. Хаким посвятил свои первые поэмы «Пара гнедых» и «Детство поэта» великому народному поэту.

### Татарская женщина

Со старомодной скромностью неложной,  
На людях неприметна и робка,  
Ты кончиками пальцев осторожно  
Придерживаешь уголки платка.  
Я этот жест вовеки не забуду.  
В своем селе, в далеких городах,  
У родника ль, в торговых ли рядах –  
Такою ты встречалась мне повсюду.  
Где б ни был я – тебя встречал я там.  
Осенний вечер помню я в Кронштадте.  
Приехали мы – кстати иль некстати? –  
Татарские поэты, к морякам.  
Тебя в знакомом сызмала уборе  
Среди военных сразу я узнал.  
Откуда ты взялась? Казалось, море  
Тебя случайно выплеснуло в зал.  
Родною речью жажду утоляя,  
Где только жить тебе ни суждено –  
Ты с ней не расстаешься все равно  
И песенку Тукая «Тефтелям»  
Поешь с пластинки, стершейся давно...

*Перевод Р. Морана*

## РЕНАТ ХАРИС

(1941)

Родился в семье сельских учителей. Народный поэт Татарстана, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая, Республиканской премии молодежи Татарстана имени М. Джалиля, заслуженный деятель искусств Татарстана, заслуженный работник культуры Чувашии и Каракалпакии (Узбекистан), автор более сорока книг на татарском, русском, английском, башкирском, чувашском языках, в том числе – избранных произведений в семи томах. Им написано более четырех десятков поэм, некоторые из которых стали операми, балетами, ораториями, кантатами, теле- и радиоспектаклями. На стихи поэта композиторами Казани, Москвы, Уфы, Саратова и т.д. создано более ста пятидесяти произведений вокального жанра.

### Гнезда

В крохотной норке в земле луговой  
Жук поселился и червь земляной.  
Муравьи свой построили дом  
В куче хвои под сосновым стволом.  
Старая елка с трухлявым дуплом,  
Что устлано пухом и птичьим пером, –  
Белки иль филина дом.  
На дубе корявом, что накрепко врос  
В высокий и мшистый скалистый утес,  
Сутулится ворон.  
А выше – орел,  
Края облаков задевая крылом,  
Кружит и кружит...  
А где его дом?  
Не знаю. Но знаю одно – никогда  
Он с вороном рядом не строит гнезда.

*Перевод Р. Хакимова*

# УДМУРТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

## АШАЛЬЧИ ОКИ

(1898 – 1973)

Родилась в д. Кузубаево (Удмуртия). Писать начала в 20-е гг. Известность получила сборниками стихов «У дороги» (1925) и «О чем поет вотячка» (1927) в переводе К. Герда. Некоторые ее стихотворения стали текстами песен («Вспоминается мне», «Два письма»). Излюбленные жанры – лирическая исповедь, пейзажные и любовные стихи. В творчестве Ашальчи Оки заметно влияние поэтики народной песни, а также русской лирики. Ее стихи переведены на многие языки народов России и зарубежных стран. В годы репрессий (подвергалась тюремному заключению в 1933, 1937 гг.) ее муза замолкает. В 50-60-е гг. писала рассказы для детей, воспоминания.

Ты бела, круглолица  
Ты была круглолица  
Всех милее, стройней,  
Свет весенний струится  
Из девичьих очей.  
И земля зацветает,  
Молода, хороша,  
И твоя оживает  
Вместе с нею душа!  
Я люблюсь не зная,  
Кто же ты дорогая!  
Пусть назвать не желала  
Ты себя...  
Но тайком назову  
Тебя алым  
Я, как в сказке, цветком.

## ТРОФИМ АРХИПОВ

(1908 – 1994)

Родился в д. Новая Бия (Удмуртия). Его творческая деятельность началась с журналистики. На страницах газеты «Гудыри» («Гром») в 1928 были напечатаны его первые очерки и рассказы. Тематика произведений 20-30-х гг. связана с крестьянской жизнью. Известность Т. Архипову принес роман-диалогия «У реки Лудзинки» (1949 – 57), охватывающий период 1941 – 53 гг. Автор многих литературно-критических и публицистических статей. Лауреат Государственной премии Удмуртской АССР.

### У реки Лудзинки

*Отрывок из романа*

<...> В деревне знали манеру Кими: злится, ворчит – а своего быка никому ни за что не уступит. Потому его ругательства и проклятья всерьез никто не принимал. Они лишь забавляли молотильщиц.

– И кто породил на свет такую скотину! – не унимался он.

– Ты разоряешься, а твой бык и ухом не ведет, – замечали с улыбкой женщины.

– Довольно с меня, пусть другие помотаются. Ты его вправо – он влево, ты его погоняешь, а он стоит.

Женщины смеялись.

– Не ругайся, Кими, – посоветовала ему Чемой. – Мы поедем на нем нового мужа мне сватать. На шею быку колокольчиков навяжем. Тогда ты его и не остановишь.

– Вам только бы смешки да потешки, – Кими отошел, в сторону и принялся набивать трубку.

После того как мужа Чемой – Микту Ивана – арестовали, она стала выглядеть бодрее, даже как будто моложе. Одно время, правда, стыдилась и ходила повесив голову, но недолго. В самом деле, ведь не чужие люди, а они с дочкой сами помогли разоблачить Ивана. Теперь все было бы хорошо, если бы не Митрей. Слезами его не воскресишь, конечно, но ведь и из материнского сердца не выбросишь. На людях она стала снова бойкой. Сейчас своим языком довела Кими до обиды. Хотя, надо сказать, он был отходчив, долго обижаться не умел. Сгрузив

снопы с телеги, сразу обмяк и забыл обиду. Погладил своего быка и направился по той же дороге обратно.

Не успел Кими скрыться в логу, как Таня обратилась к мальчикам-погонщикам:

– Мужики! Хватит смешков, трогайте лошадей! Ребята дружно, как-то по-взрослому степенно направились к лошадям.

Машина снова заработала. Все стали на свои места.

Снопы один за другим исчезали в барабане. Под машиной росла кучка золотого зерна.

Энергично нажимая на педали, к молотильщицам подъехала девушка-почтальон. Быстро соскочив с велосипеда, она поправила сумку. Молотилка, только что заработавшая, снова остановилась. Все бросились к почтальону. Только Палаша, Чемой и Таня остались в стороне. Им почтальон не принесет писем. Чемой прослезилась.

Раздав с десяток писем, девушка достала еще одно.

– Таня, иди сюда! – крикнула она.

Встревоженная, Таня, не помня себя, подошла к девушке и дрожащей рукой взяла конверт.

– Не его почерк! – вздрогнула она.

В глазах у нее зарябило, голова закружилась. Конверт, точно огонь, жег руку. Ноги слабели. Она, чувствуя, что вот-вот упадет, уцепилась за плечо Палаша.

– Таня! Таня! – подхватила ее подруга.

– Идем в сторону, – попросила Таня.

– Побледнела-то как! Может, от знакомых? Смотри скорее. И почему оно такое толстое?

Таня разорвала конверт и достала оттуда письмо и еще один конверт. Ей бросился в глаза родной почерк. «Олексан»! – слезы покатались у нее из глаз.

«Нет, это не извещение! Да кто же его письмо в другой конверт положил? И зачем?» Она быстро пробежала глазами небольшой лист бумаги, исписанный красивым, разборчивым почерком:

«Здравствуйте, Татьяна Федоровна!

Вам пишет товарищ Олексана. Вы ждете, наверное, каждый день писем от своего любимого мужа. Он и сам с нетерпением ждет того времени, когда сможет писать вам письма. Не волнуйтесь, Александр Прохорович жив. Он в партизанском отряде.

Потому и писем посылать не может. Мы с ним однажды попали в окружение. Пробраться к своим не смогли. Пришлось нам обосноваться в лесу. Я тяжело заболел. Потому меня переправили самолетом на Большую землю, со мной Олексан послал письмо. Сам я в полевом госпитале. О себе надо ли рассказывать? Когда смогу держать карандаш в руке, напишу вам сам. А это пишет для меня товарищ, лежит на соседней койке. Вместе со мной перебралась на Большую землю одна медицинская сестра – Елизавета Воронова. Ее спас от смерти ваш муж. Моя фамилия Головки. Ответьте мне, пожалуйста, на это письмо, а то я буду беспокоиться».

Таня дрожащими руками вскрыла другой конверт. Слезы радости текли у нее по щекам, буквы прыгали перед глазами, – смысл слов не доходил до сознания...

«Жив! Жив! Жив, дорогой мой!» – повторяя про себя эти слова, она прижимала к груди письмо.

Казалось, все на свете изменилось в эту минуту. Осенний день сиял весенней радостью. Таня обнимала, целовала своих подруг, все в ее душе пело. «Олексан жив! Мой Олексан жив!» Вот его письмо, написанное собственной рукой. Она прочитает это письмо десятки и сотни раз, как стихи, выучит его наизусть.

Сначала она вслух прочитает письмо Головки, потом Олексана.

Сколько радостей принесет она домой! Сэдык, наверное, заплачет. Прохор задумается, слушая, и забудет о трубке. А вот брат уже не пришлет письма. Ее отец, Федор Семенович, порадует за дочь и еще сильнее загрустит о сыне. Особенно расстроится жена Петра – Марина. Впрочем, кто знает, может, и Петр, как Олексан, живой.

Таня летела домой, не чувствуя под собой ног. Усталости как не бывало. На что уж быстро бегают Палаша, но и ей было не угнаться за подругой. Щеки Тани зарумянились, платочек слетел на затылок.

Вбежав в избу, она обняла мать и закружилась с ней, как маленькая. Та сразу поняла, что у снохи радость.

– Вот, мама, читай, – Таня достала письмо. – Впрочем, ты не умеешь читать, что я говорю! Ну так не читай, а хоть поддержи в руках. Это его письмо. А это его товарища. – Она поцеловала обрадованную мать.

Потом побежала к выходу.

– Я к отцу, на конюшню, – крикнула, выбегая. – А ты, Палаша, в контору сбегай, если отец там, пусть сюда идет. Я буду письмо читать.

Родственники собрались быстро. Таня читала именно в том порядке, в каком решила. Она не дала читать ни отцу, ни Палаше, говоря, что никто не разберет так почерк, как она.

После чтения писем на лицах у всех отразилась радость и в то же время озабоченность. Кто-кто, а Федор Семенович знал, что такое партизанский отряд. Особенно в тылу у немцев. Сколько надо умения, выдержки, ловкости и хитрости!

Мать, накрывая на стол, суетилась. Хотелось побыстрее, получше, но не клеилось. Радовало больше всего одно: сын жив, собственноручно написал. Если суждено, она его дождется.

Утром вся деревня знала: Олексан прислал письмо из партизанского отряда, где он стал разведчиком. Не знала об этом одна Мария Петровна. Ее вызвали в город. Должна была вернуться еще вчера, но почему-то задержалась. Таня ждала ее. Ей очень хотелось обрадовать Марию Петровну своими новостями. Тане казалось, что Мария Петровна особенно обрадуется, так как, встречаясь с Таней, она всегда спрашивала, нет ли писем.

В окне Марии Петровны горел свет, когда Таня вечером вернулась с работы. Значит, дома. Наверное, уже знает о письме. Кто-нибудь, конечно, сообщил ей об этом. Так и есть. Мария Петровна с нетерпением ждала Таню.

– Вот, читайте, – сказала Таня, протягивая учительнице оба письма. – Я только умоюсь и переоденусь, с молотьбы иду, вон какая грязная, – она улыбалась.

Мария Петровна села поближе к лампе, надела очки и начала читать. Сначала прочитала письмо Олексана. Правда, с ним она не знакома, не довелось увидеть. Зато она теперь хорошо знает его родных, жену. Исключительной душевности люди. Как сестру, приняли ее.

Вчитываясь в письмо Олексана, она все глубже и глубже проникалась гордостью за него.

В это время вошла Таня. Теперь она выглядела по-праздничному нарядная. Будто моложе стала.

– Прочитали? А это тоже уже прочитали? – спросила Таня, показывая глазами на второе письмо, лежавшее на столе перед Марией Петровной.

– Ой! Нет. От товарища, говоришь? – Мария Петровна поправила очки и стала читать, чуть шевеля губами.

Таня, замерев, следила за выражением лица учительницы. Что такое? Перестала читать? Нет, продолжает.

– Как это? – вдруг вымолвила Мария Петровна. – Лиза?.. Лиза Воронова?.. Сестра медицинская?.. Доченька моя – медицинская сестра?.. Может, так оно и есть. Училась ведь в медицинском институте.

Таня, пораженная неуверенной догадкой Марии Петровны, сидела, затаив дыхание.

– Ты посмотри-ка, посмотри, – дрожащим голосом учительница подозвала Таню. – Не моя ли это дочка? И имя, и фамилия ее. А что, если это и правда она? – радость светилась в ее глазах. – Твой.. твой муж спас от смерти мою доченьку... Разве это не так? – Мария Петровна, пораженная, тормозила Таню. Она ждала ответа Тани, ждала подтверждения своей мысли. Таня не знала что сказать. Откуда она может знать больше, чем Мария Петровна? На земле немало одинаковых имен и фамилий.

А если правда...

«Что же теперь сделать? Как уточнить, кто эта Лиза?» – думала Таня.

– А если Головки... Если вместе с Иваном Головки ее доставили на самолете? Его-то адрес ведь есть! Вот, вот по этому адресу мы и напишем. Если они вместе вывезены, может, даже в одном госпитале.

Учительница совсем растерялась. То смотрела на Таню, то на конверт, то на письмо...

– А если это так, Таня? Прямо все смешалось у меня в голове...

Таня вчера отправила письмо Головки. От радости чего только не, написала ему. Может, даже лишнего немного. Ну да поймет.

Мария Петровна вырвала из тетради лист, взяла в руки ручку и придвинула чернильницу.

– Кто знает, – сказала учительница, кладя перед собой чистый лист бумаги. – Кто знает, все может быть. Старики говорят: гора с горой не сходится...

Они с особым нетерпением ждали ответ. Прошла неделя, а письма все не было. Они не только не нашли Лизу, но и Головку потеряли. Эта забота еще больше сблизила обеих женщин.

Что можно было сделать? Вечерами они возвращались домой, ожидая писем. Много раз Таня представляла себе голубой конверт, штамп полевой почты, адрес, написанный разборчивыми буквами.

<...> Оставалась надежда на телеграмму: может, что-то станет известно. Если в сердце человека теплится искорка, то ее трудно погасить.

«Не все еще кончено, – успокаивала себя Таня, – не конечно, адрес напишут. С фронта дошла весточка, неужели из госпиталя не пошлют?»

Так оно и случилось. Ответил начальник госпиталя. Не телеграммой, а письмом. Он писал, что Головку направлен для лечения в другой город. Вместо названия города – многозначный номер полевой почты. Надежда вспыхнула с большей, силой. На этот раз они обе написали одно письмо.

<...> Весть пришла неожиданно. Ее принес Кими. Он всегда прежде всех узнавал новости из газет и, возя молоко в госпиталь, непременно заходил на почту. Зашел он в этот раз, а его сразу спрашивают, не отвезет ли телеграмму учительнице.

Как это Кими да не отвезет? С полной охотой. Расписался на какой-то бумажечке и запрятал телеграмму под шубу в глубокий карман. Не потеряется теперь, дойдет по назначению, об этом Кими побеспокоится.

Когда выехал на дорогу – не утерпел, чтоб не узнать, какую новость везет. Осторожно стал расклеивать конверт, в которой положили телеграмму на почте. Конечно, нехорошо, телеграмма ведь послана не ему – Марии Петровне. Ей тяжело жить вдали от родных мест, без родных и близких! Вся семья у нее растерялась, у бедняжки. Может, он везет радостное? Хорошо бы эдак. А если плохое? Теперь немало приходит тяжелых вестей. Тогда телеграмма совсем подкосит учительницу.

К Марии Петровне Кими пришел, когда совсем стемнело. Оставив лошадь конюхам, не заходя домой, сразу пошел к учительнице.

Кими видел, как дрожали руки Марии Петровны, принимавшей от него телеграмму, как долго она не могла развернуть

ее. Вот Мария Петровна читает телеграмму. Кими смотрит, не смея дышать. Она читает еще раз, будто, не веря своим глазам.

– Доченька, Лиза! Жива! Жива! Жива, мое золотко... – Она еще и еще читала, а слезы катились у нее по щекам. – Знаете, Тимофей Иванович... – учительница подбежала к Кими и поцеловала его.

На лице ее блеснули слезы. Теперь она не одинока, а с доченькой.

Как только Лизу выпишут из госпиталя, она приедет к матери. Эту несказанную радость принес Кими. Он думал, что услышит спасибо – и делу конец, пойдет домой. А Мария Петровна даже поцеловала его. «Что значит сердечный человек!» – думал он, шагая по улице.

Кими всю ночь не давала покоя одна мысль: почему Мария Петровна не просит его о том, чтобы он поехал встречать ее дочь?

Как-никак, Кими – сознательный и всегда может найти общий язык с образованным человеком. Если дочку учительницы поедет встречать сам старший конюх Прохор Михайлов, то чего хорошего она услышит от него? Будет сидеть, как чурбан, с вожжами в руках. Чтоб разговаривать с образованной девушкой, подход нужен. Правда, послать за ней молодого парня было бы лучше всего. Но парней нет, все на фронте. Один Илья, но и тот того и гляди на фронт снова отправится. Мне, говорит, надо отомстить. Илья, конечно, стоящий парень. Если останется до того времени – хорошо сумеет довести.

Утром спозаранку Кими снова был у Марии Петровны и поделился своими размышлениями. Мария Петровна поблагодарила его. Однако о возвращении дочки не сказала, так как и сама об этом ничего не знала. Пообещала, как только получит письмо или телеграмму, сразу же сообщит Кими. Сама поедет с ним на станцию.

Недели через две пришло известие, что надо ехать встречать гостью. И Прохор, и сам Авдеев ничего не имели против того, о чем мечтал Кими. Даже распорядились взять выездную кошовку и самую лучшую лошадь – Орлика. Но вот беда: Мария Петровна заболела и слегла. То ли сказались переживания и бессонные ночи, то ли просто от простуды. Даже в натопленной избе ей казалось холодно. Около нее осталась Сэдык.

Пришлось ехать одному Кими. Посмотрев внимательно карточку Лизы, которую показала ему Мария Петровна, Кими заверил: «Из сотни узнаю». Правда, сказал, для того, чтобы успокоить учительницу, потому что ему не только из сотни – из десятка трудно будет узнать. На карточке она была в белом платье, с двумя косичками, с ничем не примечательным лицом, А теперь она военная. Да и косичек, поди, не осталось.

<...> Но в этот момент кто-то коснулся его руки. Обернулся – человек в коротком нагольном полушубке, В руках чемодан, на ногах такие же, как у того солдата, серые валенки.

– Вы не меня ли ожидаете?

Кими сразу же вспомнился взгляд на фотокарточке.

Чистое лицо Лизы худощаво и бледно. Даже мороз не покрасил его. Но глубокие черные глаза смотрят задорно. Радостная, приветливая улыбка открыла белые мелкие зубы. Голос у Лизы приятный, звучный.

Лиза сразу понравилась Кими. Она даже показалась ему похожей на Палашу.

<...> – Как тихо здесь, – вдруг вымолвила Лиза. – Ни выстрелов, ни самолетов...

– Откуда здесь быть выстрелам? – обернулся к ней Кими. – Фронт от нас далеко. Мы здесь мирным трудом заняты. Твоя мать учителствует. Мы хлеб добываем. Занятия – мирнее некуда. Зимой лес заготавливаем, скотиной занимаемся. Без дела сидеть не приходится.

Лиза замолкла. И не возразила и не поддержала. Видно, погрузилась в свои размышления.

Тихо. Опять слышно только поскрипывание полозьев. В гору едут тихо, на ровном месте – быстрее. Лошадь погонять не приходится, сама торопится в деревню.

Когда выехали в поле, Лиза откинула воротник тулупа и стала вглядываться вдаль. Все сверкало на солнце. Снег в серебряных блестках ослеплял глаза.

– Какая красота! – воскликнула она, точно человек, сроду не видевший снежного блеска.

От мороза лицо Лизы чуть-чуть покраснело. Солдатская шапка делала ее похожей на молоденького паренька.

Кими понимал: девушка радуется возвращению к матери. Поэтому ее радует все, что она видит здесь. А чего тут, собственно, необыкновенного то?.. Нет, пожалуй, в самом деле очень красиво. Особенно, если смотреть вот с этого бугра.

И все же не терпелось завести разговор о войне. Но как начать его? Так и доедешь до деревни, ни о чем не поговорив. Он долго думал, с чего начать важный и поучительный разговор, что-то шептал про себя, шевелил губами. Ведь важно дать почувствовать, что он не темный мужичишка, а понимающий человек. Кими неожиданно повернулся к Лизе и спросил:

– Вы, Елизавета... то есть, – он запнулся, – извините, – забыл имя вашего батюшки.

– Так я еще молодая. Лиза – и все тут, – она улыбнулась.

– Нет, нехорошо. Если б вы были простым человеком. Небось с генералами знакомы? Может, даже и рассказать есть о чем?

– Как же! Как не быть! – согласилась Лиза.

– Знаете, какое дело. Я и сам бы сейчас мог повоевать... – он вдруг запнулся, у него чуть не вырвались слова – может, был бы генералом. Вместо этого он с обидой сказал. – Да вот сижу в деревне, с женщинами воюю...

– Почему же вы воюете с женщинами?

– Так ведь с ними нельзя по-человечески. Чуть ослабишь вожжи, сразу на голову сядут.

Лиза посмотрела на него растерянно, не зная что сказать. Кими почувствовал, что немного переборщил, и решил смягчить разговор.

– Они у нас не – такие, как вы, – необразованные. С культурным человеком разговор, конечно, другой, он поймет что к чему. А вот у нас...

Кими замолк.

Начатый разговор оборвался. Ехали молча.

– Я ни одной газеты не оставляю непрочитанной. И вашу телеграмму я привез.

– Большое спасибо вам за доброе дело, – сказала Лиза. Эти слова смягчили Кими. «Ну, это, кажется, сказал к месту», – подумал он. Поэтому решил смелее расспрашивать и проявить свои познания,

– Я всем говорил, – начал он, разжигая трубку, – что Гитлер непременно в ловушку попадет. Вот и попался. Под Сталинградом. Как услышал, сразу на сердце легче стало. Что теперь запоет этот самый Паулюс? Ох, я и задал бы этим немецким генералам! Я-то знаю, как с ними надо разговаривать...

Что ни скажи, а разговоры Кими делали дорогу короче. Вот они поднялись на холм, и деревня как на ладони. Видны были и лошади на улицах, и женщины, несущие воду с реки, и ребятишки, катавшиеся на салазках.

– Ну вот, Орлик, ты и довез нас до дома. Прохор даст тебе сейчас сытного корма.

Он обернулся к Лизе:

– В эту самую деревню я везу вас, – Кими посмотрел на нее ласково из-под лохматых бровей. – Здесь твоя мать живет, наша уважаемая учительница.

Не то от этих слов, не то от чего-то другого на глазах Лизы вдруг сверкнули слезы. Кими испугался:

– Что, доченька, может, я что не так сказал? Вы уж извините меня, если что не к месту. Такой у меня характер. Люблю поговорить.

– Что вы! Что вы! – Лиза дотронулась до его руки. – Я просто так.

– Ну, хорошо, если просто так. А то я... Разные ведь мысли приходят человеку в голову.

Ребятишки уже знали, что Кими везет необычную гостью. Они бежали гурьбой вслед за санями, а прицепиться к ним, как обычно это делали, не осмеливались.

– Вот в этом доме живет Мария Петровна. У Прохора Михайлова. Он у нас старший конюх. Настоящий солдат, в кавалерии служил. А сын у него на фронте.

Лиза уже не слышала этих пояснений Кими. Она вглядывалась в замерзшее окно, не выглянет ли мать. Тем временем у саней собрались люди.

Лиза, встреченная удивленными взглядами, еле выбралась из большого тулупа. Что ж, оказывается, такая же, как и все. И ростом невысока, и голос девичий. Кими уже не удивлялся. Как будто не он до встречи с Лизой думал, что партизаны это не-

пременно великаны. Как же она в лесу жила и по врагам стреляла? Он даже пожалел ее и сам понес чемодан в дом.

Едва успели войти во двор, дверь распахнулась, выбежала Мария Петровна, и следом Сэдык и Таня.

– Доченька!

Они обнялись, обе не сдержав слез.

...Лиза стала дорогой гостьей всей деревни. Ее приглашали из дома в дом, угощали табанями с зыретом\*.

«Ешь, Лиза, пей, дорогая!» Лизе очень нравилась стряпня удмуртских женщин. А еще больше нравились они сами, их характер – спокойный, ровный, приветливый.

Кими не упускал, конечно, случая напомнить о себе... Ведь это он привез Лизу со станции. И телеграмму – тоже он привез.

Лизу засыпали вопросами, несмотря на то, что женщины, особенно пожилые, с трудом ее понимали. В таких случаях Кими был незаменим.

Всем хотелось знать, когда кончится война. <...>

*Перевод Н. Крапиной*

## НИКОЛАЙ БАЙТЕРЯКОВ

(1923)

Родился в с. Варзи-Ятчи (Удмуртия) в крестьянской семье. Окончил Высшие литературные курсы Союза писателей СССР в Москве. Работал в партийных органах, в редакции районной газеты. Участник Великой Отечественной войны. Автор 13 поэтических сборников. Пишет также рассказы и сказки (сборники «Жемчуг», 1972; «Под тремя березами», 1980). Лауреат Государственной премии Удмуртской АССР (1985).

### Погоны

Давно погас войны огонь,  
Вновь жизнь цветет на пепелищах.  
И старых фронтовых погон  
Уже как будто и не сыщешь.

---

\* зырет – соус к блинам или лепешками.

Утихла боль глубоких ран,  
Народ мой в счастье верит свято.  
И лишь порою ветеран  
Расскажет о войне внучатам.  
Мы верим, что цветам цвести,  
Плодам – крупнеть в тугом наливе,  
А детям нынешним – расти  
И завтра быть еще счастливей.  
Но столько помнится утрат,  
Вся жизнь была такой горючей,  
Что пусть погоны снял солдат,  
А все ж хранит он их – на случай.

*Перевод О. Поскребышева*

## **ФЛОР ВАСИЛЬЕВ**

(1934 – 1978)

Родился в д. Бердыши (Удмуртия) в семье учителя. В 1960 г. вышел первый сборник «Сияют звезды». В дальнейшем его сборники стихов печатались и на удмуртском, и в переводах на русский язык: «К солнцу» (1963), «О тебе» (1966) и др. За сборники «В месяц листопада» (1976), «Времена жизни» (1976) по эту посмертно присвоена Государственная премия Удмуртской АССР (1978). Его стихи переведены на многие языки народов России, венгерский, английский.

\*\*\*

В детстве мне говорила мать:  
«Гнёзда не разорь!»  
С природой не надо, сынок, воевать,  
Надо любить свой край!»  
Она повторяла: «Ветви кустов  
Зря, сынок, не ломай!  
Зря не топчи луговых цветов:  
Надо беречь свой край!»  
Она говорила: «Сынок, пойми,  
Природу не победить!»

С деревьями надо, как с людьми,  
В согласье и мире жить!»  
А я кричал: «Ненавижу лес!  
Ведь я заблудился в нём!  
Вырасту – до самых небес,  
Выжгу его огнем!  
И если я на землю летел,  
Споткнувшись в сплетенье трав,  
Я с корнем вырвать траву хотел  
И думал, что я был прав!  
Ровное место оставлю тут,  
Чтоб не ломали ног!  
Ещё, пожалуй, засыплю пруд –  
Ведь я утонуть в нём мог!  
И я кричал, что крапива жжёт,  
Что холодна река!  
А мать говорила: «Это пройдёт,  
Ты глупый ещё пока!..  
Пойдёшь по земле, живое любя,  
И травы лягут, как шёлк...  
И в тёмном лесу не тронет тебя  
Самый свирепый волк!»  
И вырос я. И смотрю вокруг:  
Мудрая мать права.  
Как поредел наш прекрасный луг,  
Вытоптана трава...  
Увидел я, что река грязна,  
Что сломаны кем-то кусты,  
Сохнет надрубленная сосна,  
Гнёзда скворцов пусты...  
Что выжжен лес и чёрный овраг  
Ширится что ни год.  
Я думал, природа – мой страшный враг,  
А вышло наоборот!  
И птица из чащи, и рыба из рек  
Ушли навсегда теперь.  
Мой враг настоящий – злой человек,  
А не пугливый зверь!

## ГРИГОРИЙ ВЕРЕЩАГИН

(1851 – 1930)

Родился в с. Полое Вятской губернии в крестьянской семье. С первых лет творческой деятельности стал известен в России, а также в Финляндии и Венгрии изданными в Петербурге литературно-этнографическими трудами «Вотяки Сосновского края» (1884, 1886), «Вотяки Сарапульского уезда Вятской губернии» (1889), удостоенными серебряных медалей Русского географического общества. Наряду с текстами этнографического содержания, работы содержат элементы художественной прозы. Литературно-этнографические очерки и труды по народной словесности печатал в научной периодике Сарапула, Вятки, Казани, Москвы, Архангельска, Петербурга. Значительная часть творческого наследия (поэмы, пьесы на русском и удмуртском языках) осталась в рукописи.

\*\*\*

Сизый, сизый голубочек!  
Почему ножки пачкаешь?  
Красивый сыночек-голубчик!  
Почему все плачешь?  
Подрастешь – в руки топор,  
В лес пойдешь, песни распевая;  
Высокую ель свалишь,  
Устанешь колоть дрова.  
У меня завершатся домашние дела  
Или: Я довершу стряпню,  
Тебя буду ждать, жалея,  
Солнце спрячется за лесом,  
Домой вернешься уставший.  
Накормлю тебя табанями,  
Голову маслом подмаслив.  
Будешь пить медовое пиво,  
Приговаривая, что матушка сварила.  
Сизый, сизый голубочек!  
Почему ножки пачкаешь?  
Красивый сыночек-голубчик!  
Почему все плачешь?

## КЕДРА МИТРЕЙ

(1892 – 1949)

Родился в с. Игра (Удмуртия) в крестьянской семье. В 1915 г. опубликовал трагедию «Эш-Тэрек», в которой показал родовой уклад жизни удмуртов. Автобиографические элементы присутствуют в повести «Вужгурт» (1926), рисующей события гражданской войны в Удмуртии. Автор первого романа в удмуртской литературе – «Тяжкое иго» (1929) о христианизации удмуртов и социальном расслоении в деревне в XVII-XVIII вв. Продолжением трагедии «Эш-Тэрек» в рамках задуманной трилогии об историческом прошлом удмуртского народа стали трагедия «Идна-Батыр» (1926) и поэма «Юбер-Батыр» (1928), написанные на фольклорных материалах. Опубликовал рассказы, очерки о переустройстве и обновлении жизни в 20-е гг. В 1937 репрессирован.

### Дитя больного века

*Отрывок из очерка*

Во вторник (число не помню) я пошел из Зуры пешком домой. На другой день мне предстояло уехать. Родители были в поле. Я отправился к ним и весь тот день жал с ними. Мать вернулась домой раньше, тотчас после захода солнца: она должна была приготовить провизию мне на дорогу, одежду и т.п. С отцом и сестрой Надей втроем мы жали долго. Когда вернулись с поля, на столе было уже все готово – и чай, и ужин. Самовар от горячих углей шипел во всю избу и, как паровоз, выпускал непрерывные струи пара. Вечер прошел тихо. Я спешил лечь пораньше в постель. Заснул после всех. Слушал, как возилась мать с посудой, мыла и расставляла на полках в шкафу. Когда все стихло, я подумал: «Вот последний раз сплю в родной избе, а с завтрашнего дня неизвестно – где и как...» Проснулся я с той же неотступной мыслью о поездке в неизвестные мне доселе места.

В этот день наша семья встала раньше обыкновенного, когда было темно не только в избе, но и на дворе. Раньше всех встала мать и принялась за стряпню. Через некоторое время все сели за чай. После чаю я расстался со старшей сестрой и с братом Александром; они не могли ждать моего выхода из дому, потому что нельзя было терять время в такую страдную пору, какая была тогда; к тому же наша семья маленькая и рабочих

рук мало. Отец за ними же вышел из избы. Он отправился на дуга 'искать лошадей. Я ходил по небольшому садику, состоявшему из черемух и рябин, посаженных мною же. При посадке эти тенистые теперь деревца были худенькими, маленькими. С грустью смотрел я на каждое деревцо, как бы прощался с ними, все равно что с живыми существами. За мной ходила маленькая сестрица Фекла, любящая меня, и разговаривала со мной. Отрадно было слушать ее лепет. Около восьми часов утра мать была свободна; ранний обед тоже был готов. Мать позвала нас, и мы втроем сели обедать...

Настало время прощания с домом, матерью и сестрицей. Предварительно помолились перед образами, причем мать повотски испрашивала мне здоровья, счастливого пути и достижения цели не только у бога, но и у умерших, как делают это язычники. Мать была печальна, из глаз ее катились слезы, но она старалась скрывать их от меня. Наконец, когда мы вышли в сени, мать еще раз благословила меня, и я расстался с нею и сестрицей.

Удивительно, такой плакса, каковым я был, и не думал я плакать при расставании. Думаю, это оттого было, что имел чрезмерное желание учиться – быть на стороне, и свыкся в должной степени с этой мыслью. Когда я прошел угол избы, мне был еще слышен плач матери, – мне стало грустнее, тяжелее. Выйдя на улицу, я встретился с соседкой, идущей по воду. Есть у вотяков поверье: встреча с женщиной, да притом с пустыми ведрами в ее руках – не к добру. Мне сразу пришло в голову оно, и подумал я с трепетом и некоторым ужасом: «Эх, видно, несчастье какое будет со мной или в семинарию не поступлю». Я распрощался с этой бабой. Больше никого на улице не было. Взобравшись на возвышение в конце села, я повернулся к нему и долго не мог оторваться.

Подо мной внизу стояло родное село Игра. Оно небольшое, но дорого мне. С виду мало прелестного, но, собственно, для меня оно красивее всех других сел, много прелести у него особенной, ему только свойственной.

Вот на конце улицы старые, дуплистые, рослые березы; под ними перед сенокосом собирается молодежь, водит хороводы, играет в горелки и тому подобное. Шум, гам ребячий, звуки гармоники, разудалая песня, а чаще хоровое пение. Русских нет

тут, но поют большею частью русские песни: «Александровская береза», «Полна, полна, моя коробушка», «По улице мостовой» и другие; редко слышатся вотские.

За березами стоят избы; там начинается улица. А вот и наш дом! Там, может быть, все еще плачет моя мать, а то, утешившись, принялась за стряпню, но по временам снова кольнет ее, и слезы капают из глаз. С ней рядом стоит Феклинька и сочувственно глядит матери прямо в глаза.

– Мама, скоро ли вернется Дмитрий из Казани?

– Не скоро он приедет, доченька.

Правее от избы – амбары, клетки, еще правее – конюшни, каретник, рядом с ним куала. В былые годы я гонялся по крышам этих строений за воробьями; иногда, увлекшись гоньбой, с разбегу прямо и слетишь с крыши. Но рок мой судил мне оставаться целехоньким. Позднее, когда побольше сравнительно ума набрался, я чистил по веснам эти крыши от снега, который большими глыбами сталкивал вниз. Позади конюшен видна баня, окруженная садами: нашими и сзади вязами соседа. Баня вся в зелени. Тут вязы, черемухи и рябины, которые в моем малолетстве бывали обижаемы мною: то прутик отломлю, то корень попорчу. Целые дни сидел, бывало, с товарищами на их ветвях. Позади куалы виднеется верхушка рябиночки. Ее уже я сам посадил. Рядом с нею много черемух, рябин, есть даже ива одна, малинник, смородина и крыжовник, все посажено мною. Вот это еще дороже для меня; этим «маленьким, молодым садиком» горжусь.

Над домами и постройками возвышается новая неокрашенная церковь с девятью главами и высоченной колокольней. При постройке ее в каждое воскресенье я лазил на нее, а когда стала готовою, поднимался на колокольню. Жутко бывало, как поглядишь с нее вниз, голова кружится, – дух захватывает. Зато какая радость! Любуешься прекрасными видами (все эти виды я рассматриваю и теперь, стоя на холме, на тракту...). Направо от новой каменной церкви стоит маленькая, как котенок при матери-кошке, вторая, деревянная церковь. Вокруг церковей расположены дома духовенства и, в свою очередь, утопают в зелени дерев: берез, ив, черемух, акаций и сиреней. А что главное среди этих домов, так это вот то двухэтажное здание, что стоит в сторонке, более вдается в поле, – это церковно-приходская школа. При виде ее сколько переживаний!..

Вокруг села – поля; в них много я работал. Там вон сейчас, верно, жнут Надя и Саня. Налево отсела кладбище с поросшим на нем сосняком и ельником.

Я сел на более возвышенное место и продолжал взирать на окружающее меня, припоминая мельчайшие подробности, которые в другое время и на ум не приходили.

На другом конце села за последним домом, в стороне, против волостного правления возвышается холмик высотой вровень с тем холмом, на котором теперь я нахожусь. Это – Шайгурезь. На нем раньше хоронили покойников вотяки, когда были язычниками. Относительно Шайгурезя сохранилось среди вотяков множество преданий и суеверных рассказов. Дальше этот холмик довольно круто обрывается и переходит в низменность. Это болото, поросшее ивняком, ольхой, сосняком; изредка: встречаются хилые ели, много берез. Там я ежегодно рубил ивы и сди-рал с них кору для продажи.

За болотами широкая полоса лугов, среди которых тянется река Лоза. О, прелестная, дорогая река! Сколько хорошего я видел у твоих берегов! Бесчисленное множество раз в минуты печали уходил на твои берега, на твои роскошные луга! А сколько раз омывал свое тело в твоих водах! В знойные летние дни бегал туда, плескался и нырял, как утка, в прозрачных водах. Как много времени проводил я в уженьи рыбы, сидя на берегу у куста ивы! Поверхность воды ровная; иногда лишь плеснется рыба, и образуются кружки на том месте; они все больше и больше увеличиваются, их линии стремительно бегут к берегам, разбиваются о них и исчезают. Вот клонула рыбка. Я вытаскиваю удочку, и в воздухе над водой под лучами сияющего солнца блестит рыбка: окунь, лещ, головня, а то пескарь либо ерш. Устану сидеть на берегу, вскидываю уду в воду, втыкаю конец уди-лица в мягкий илистый берег и бегу наверх, ложусь на цветной ко-вер. Очаровательно! Кругом цветы, я срываю некоторые из них, рас-сматриваю; а то до того увлечешься, что соскочишь с места и пой-дешь собирать цветы в букетик или же плетешь венок, который воз-лагаешь на голову; еще сплетишь гирлянду и обовьешь себя кру-гом – лучшего украшения и не пожелаешь. Вслушиваешься в пе-ние птичек, кваканье лягушек, стрекотанье насекомых в траве – и ничего предосудительного не находишь в квакании и стрекотании, наоборот, и они возвышают как-то душу...

Потом сенокос! Машешь косой, трава ложится, цветы отлетают – их судьба теперь вянуть и сохнуть... А теперь по этим лугам ходит скот; сами по себе луга голы. Вспомнилось мне при этом сказание вотяков о реке и луге. <...>

## ГЕРД КУЗЕБАЙ

(1898 – 1937)

Родился в д. Большая Докья (Удмуртия). В начале творческого пути опубликовал поэму на русском языке «Над Шошмой», несколько пьес и рассказов на удмуртском языке. В первый поэтический сборник «Гусяр» (1922) вошли стихотворения и поэмы, написанные до Октябрьской революции и в первые годы Советской власти. Много сделал в области педагогики. Организовал первый удмуртский детский дом (1921). Писал для детей стихотворения, рассказы, сказки («Медведи», 1926). Выпустил для чтения в начальной школе книги («Теплый дождь», 1924; «Новая дорога», 1929). В 1932 г. арестован по ложному обвинению. В 1937 расстрелян.

**Я ни разу не видел море ...**

Я ни разу не видел море,

Я ни разу не видел юг.

И мне кажется, в синем просторе

Я увижу лишь поле и луг.

Говорят, что оно красиво –

Как живое, дрожит при луне...

Но милей мне родные нивы,

Стук цепов на удмуртском гумне.

Что там волны упруги и дики,

Чайки в небе, как белый снег...

Но милей мне полынь с повиликой,

Облака в голубой вышине.

Мой курорт – наши вотские гурты,

Мое море – просторы полей,

Где в волнах, точно в море, удмурты

Жнут свой хлеб, пригибаясь к земле.

Наше поле не хуже моря,

И красивей его во сто раз,  
Где колосья, с ветрами споря,  
Гнутя, бьются с зари, с утра!  
Наше поле весной голубое...  
А потом, как начнет цвести,  
В бледно-желтом томясь покое,  
Ждет поры, чтоб зерно принести.  
А когда нальется, созреет, —  
Станет ярким, как яркий день,  
Золотыми брызгами веет  
В берегах голубых деревень...  
Я ни разу не видел море,  
Я ни разу не видел юг.  
И мне кажется, в синем просторе  
Я увижу лишь поле и луг.

## МИХАИЛ КОНОВАЛОВ

(1905 – 1938)

Родился в с. Акаршур (Удмуртия). Окончил Можгинский педагогический техникум (1925). Студентом печатал в газете «Гудыри» (Гром) первые стихи, зарисовки, корреспонденции. Работал в редакции газеты «Удмурт коммуна» (Удмуртская коммуна), редактировал заводскую многотиражку «Андан понна» (За сталь), учительствовал на селе. С июля 1934 – профессиональный писатель. Был первым председателем Союза писателей Удмуртии. Участвовал в фольклорных экспедициях (1934, 1936). Их материалы легли в основу исторического романа «Гаян» (1936) об участии удмуртов в пугачевском восстании. Тяготение к народным традициям, эпическому повествованию, острым социальным конфликтам характерно также и для романа «Лицо со шрамом» (1933, 1935). Это первый так называемый производственный роман в удмуртской литературе, построенный на материале истории Ижевского завода и отражающий типичные коллизии своего времени. В 1937 г. репрессирован.

## Гаян

### Отрывок из романа

...Затевалась потеха. Казаки и башкирцы плотным кольцом обступили полянку, по которой с озорным видом похаживал, засучив рукава, здоровый, плотно сбитый, круглоголовый и чистый лицом сам предводитель башкирских отрядов Салават Юлаев.

Отовсюду слышались подбадривания, но никто не решался выйти в круг помериться силами с Салаватом. Всем известна его богатырская мощь. Башкирец силен, как молодой бык. Скуластый, бритоголовый, краснощёкий, он, казалось, был отлит из бронзы.

Гаяну хорошо виден Салават: он любит его. А Камаю ничего не видно: он подпрыгивает, вытягивается за спинами казаков и башкирцев. Наконец заметил пенёк и влез на него. Гаян встал рядом с другом, и теперь они сравнялись ростом.

Толпа зашумела пуще прежнего, когда в круг вышел здоровенный казак. Медведь, а не человек: грудь колоколом, руки толстые и длинные, ноги словно брёвна. Салават рядом с верзилкой казак кажется младенцем. Но Салават зорек, проворен, быстр, ловок. На все руки мастак – башковитый полковник, добрый рубака, первый запевала. Даже складные песни сам сотворяет. Башкирцы в бой идут за своим вожаком без колебаний, налетают на противника вихрем. Нет от них пощады врагу. Царь\* души не чаёт в Салавате.

Схватились борцы, замерла толпа. Казак силен. Он поднимает Салавата над головой, трясёт, кидает, а прижать к земле, сбить с ног башкирского вожака не может. Салават скалит зубы, посмеивается.

Потемнело небо, снежный полог накрыл толпу зевак. Сразу побелела земля. Борцы ничего не замечают. Вокруг шумят неистово. Башкирцы без умолку тарабарят.

И вдруг – ахнула толпа: огромный казак, никто не понял как, оказался оторванным от земли, забрыкал толстыми ногами и полетел на землю, повалив с десяток зевак. Поверженный расшвирипел, вскочил на ноги, ринулся было к Салавату. Поздно. Оказался на земле – побеждён. Казаки знают правила, строго блюдут справедливость. Окружили товарища, успокоили.

---

\* царь – здесь: Пугачёв

Толпа возликовала, приветствуя победителя. Салават улыбается, прохаживается по кругу, ожидая нового соперника. Силы в нём хоть отбавляй – дышит ровно, свеж и бодр, будто и не было схватки с казаком.

– Кто ещё хочет попробовать? – зазывает в круг товарищ Салавата, явно гордясь своим вожаком, непобедимым силачом. Однако желающих потягаться силой с Салаватом не находится.

Камай шепнул Гаяну:

– Попробуй, а? Я бы попытался, да зачем позориться. До Салавата я не дорос. И-эх!

Люди кричали:

– Ну что, казаки, зря мёд-пиво пьём, да? Ну, кто смел, выходи!

– Не крепкое мёд-пиво пьём.

– Мёд-пиво то же, да казаки не те.

– Какой стыд! Неужели не найдётся молодца, чтобы потягаться с Салаватом?

Камай подзадорил Гаяна:

– Давай, давай, друг. Не зря же ты пушки ворочал. И-эх!

Зеваки обратили взгляды на Гаяна, многие видели, как он управлялся с пушками, рубался в бою. А тут ещё Маденев подошёл и подтолкнул Гаяна в круг.

– Ладно, попробую, – смущаясь, сказал Гаян, вышел в круг, снял зипун\*, бросил на руки Камаю.

Салават и Гаян улыбнулись друг другу. Оба хороши, оба здоровы, крепки. Гаян чуть-чуть выше ростом, Салават приземистее. По возрасту почти одногодки.

Затаив дыхание, окружающие ждут начала схватки. Тихо. Слышно дыхание взволнованных зевак; все чувствуют, что предстоит интересная борьба. Камай натянулся, как тетива, переживает за друга.

Сошлись борцы, закрутились на месте, пробуя силы. Снег из-под ног летит букетами. Ломают друг друга, упругость и твёрдость мускулов испытывают. Не может взять верх ни тот ни другой: стоят столбами, напряглись, покраснели.

Оба богатыря поняли: силы их равны, исход борьбы решит ловкость, хитрость. Нужна уловка, чтобы опрокинуть противника. Борцы запрыгали мячами, вертят друг друга так и этак.

---

\* зипун – старинная верхняя крестьянская одежда в виде кафтана воротника, обычно из грубого сукна.

Вот Гаян, изловчившись, перевернул, бросил Салавата. Тот полетел вверх тормашками, но всё-таки устоял на ногах. И вдруг ловко кинул противника наземь. Гаян кошкой вывернулся, раскорякой упал, но не лёг на лопатки. Борцы схватились снова. Дышат часто, пот катится по лицам. В глазах нет ни ярости, ни злобы – сосредоточенность, напряжение. Хорошо!

Ударила вестовая пушка. Пушечный выстрел положил конец схватке равных. Царь скликал своих людей к бою.

Салават улыбнулся:

– Здоров, друг, сильный. Очень хорошо!

Гаян ответил дружелюбно:

– Однако поломал ты меня. Не встречал ещё такого. Не зря зовут тебя Салаватом.

Камай подал зипун Гаяну, вздохнул с непонятной грустью:

– И-эх!..

## ГЕНРИХ ПЕРЕВОЩИКОВ

(1937)

Родился в д. Верх-Нязь (Удмуртия). Начал писать во 2-й половине 50-х гг. Первая книга – сборник рассказов для детей «Белый колокольчик» (1960). В 1970 г. опубликовал повесть «В воздухе – Меркушев» (в соавторстве с Ю.Ф. Кедровым) и сборник очерков и повестей «Мужала юность» об участии земляков в Великой Отечественной войне. Эта же тема – в центре сборника очерков «В грохоте бури» (1975). Известность приобрел первой в удмуртской литературе тетралогией, состоящей из романов «Поклонись земле» (1977), «Рассвет в Югдоне» (1980), «Наперекор волне» (1981), «В полдень» (1986), широко охватывающих жизненные явления, в т.ч. проблемы деревни 70-80-х гг. Лауреат Государственной премии Удмуртской АССР.

### Гололед

*Отрывок из романа*

Никогда, наверное, не забудутся те дни. Так же, как никогда, не забыть ему родную деревню, черемуху под родительским окном, радужные луга вдоль светлой, то молчаливо-медлительной, то стремительно-говорливой извилистой речки Уть; поля и рощицы, пахнущие хлебом, земляникой, грибами и еще чем-то милым, терпким – лесным и луговым.

Почему беззаботные и праздничные краски детства потускнели с годами? Поначалу горько-соленый пот, бегущий по щекам, отодвинул речку на второй план. Теперь неделями и месяцами Роман пропадал на лугах и полях: то овощи от сорняков пропалывал, то сено сгребал-стоговал, то лен теребил... Затем скот пас. С ним тоже хлопот много: то лошади в лес убегут, то быки в болото заберутся.

И так всё лето: пашешь, боронишь, сеешь, косишь. Сено – в копну, снопы – на гумно, зерно – на склад. И в зной, и в дождь. От темна до темна. Трудишься изо всех сил, а ешь все тот же черный, замешанный с лебедой хлеб, рыхлый, несытный. Если бы не картошка да козье молоко – совсем бы невесело было. Лишь когда урожай соберешь – мать, бывало, испечет два-три каравая из чистой, ни с чем не смешанной ржаной муки. Такое событие, которого целый год ждешь, – всем праздникам праздник.

Мама сядет рядом, погладит по голове:

– Ешь, сынок. Сегодня досыта ешь...

– Но разве такого хлеба наешься?

А зимой чистый ржаной хлеб, купленный в магазине (его называли «белым», «казенным»), Роман впервые попробовал, когда учился в четвертом классе. Да и то помог этому необычный случай. Как-то под рождество в морозный день появился в их деревне поп. И принялся детей крестить. Когда Роман пришел из школы, мама предупредила:

– Сегодня никуда не ходи. Бачко обещал зайти.

– Нэнэ, а кто такой бачко? – не понял Роман.

Мама пояснила:

– Это отец Миколап из Мувырской церкви. Его люди батюшкой зовут. Я специально с работы отпросилась.

– Зачем? – взъерошился Роман.

– Дак... Тебя окрестить надо. Ты – не бойся. Бачко молитву прочитает да крестик тебе на шею повесит. Вот и всё... Надо это. Уж больно сильно ты кашляешь. Может, молитва и поможет. Лекарство ведь негде взять.

Роман возмутился. Крестик? Еще чего не хватало! Недавно его в пионеры приняли. А инмары, шайтаны, водяные, лешие – это всё сказки! Нет, он не даст себе на шею крест повесить. Ребята засмеют. А в школе что скажут? Подумают, что он всяким небылицам верит.

Ему стало стыдно. «Кашель...» Она ведь прекрасно знает, от чего этот кашель: единственные холщовые штаны да дырявые лапти – вот и весь фокус. И сегодня до костей промерз, ноги чуть не околели. В лаптях дыры с кулак. Хомяк может пролезть. Промокшие онучи намертво пристали к лыковой обувке...

«Что же делать?» – задумался Роман.

Сказал матери, что забыл условие задачи по арифметике в школе переписать, а своего учебника нет. Сбегаю, мол, к Ванюшке. Дружок у Романа такой был. Наскоро поев, засобирился.

Мама предупредила:

– Не задерживайся... Бачко ждаты не будет.

Роман обрадовался: «Вот и хорошо».

Для пущей верности он скорректировал план. Решил к Ванюшке заглянуть лишь для вида (вдруг нэнэ будет в окно глядеть, куда он побежал, а живут рядом — всего через один дом), а потом огородами пробраться в другой конец деревни к Петыр Мишке. Ванюшка выслушал его и предложил:

– Давай сперва к Семке сбегаем, его брат-фезеушник из города спички привез, попросим у него одну «гребенку».

В те времена спички не всегда продавались в коробках. Нередко выпускались склеенными в виде пластинок, похожих на расческу.

Роман обрадовался: может быть, Семка и вправду спички даст. Тогда не надо будет по утрам к соседям за горячими угольями бегать. Но радость оказалась преждевременной: на двях Семки висел огромный замок.

– Э-э, да ведь Семка в Мувьре, – хлопнул себя по лбу Ванюшка. – Он щеки отморозил, у дяди живет, отогревается.

Ничего не поделаешь, Роман и Ванюшка пошли к Петыр Мишке. Домой вернулись поздно, когда уже и огни в окнах гаснуть начали.

Мать встретила Романа со сковородником в руках:

– Ты где шляешься, черт тебя побери?

– Дак, задача не получалась...

– Вот огрею сковородником, сразу всё получится!

Крепко досталось Роману в тот вечер. Да и Ванюшка получил свое. Оказывается, и он сбежал от крещения.

Мать долго не могла уговорить:

– Все жилы уже вытянул! Неслух! И в кого ты такой уродился? Ой, какой грех! Какой грех!

Она, правда, была не очень богомольной. Бывало, только во время сильной грозы перекрестится. Да, помнится, до прихода папиной похоронки чуть ли не каждый день стояла на коленях перед иконой. А потом почти и не вспоминала бога. Но тут ее как подменили. Видно, сильно напугал ее бачко Миколай.

– Э, инмаре, инмаре, – причитала она, – не бросай нас грешных, господи, не серчай на таких беспутных.

Она стояла в углу и повторяла истово:

– Образумь чадо мое бездумное. И овечку нашу пожалей. – Мимоходом шлепнув Романа по затылку, прибавила. – Слушаться старших надо, шалопай!

Мать очень беспокоилась за единственную в хозяйстве овцу, которая должна была вскоре принести ягнят. А овечка, как на грех, захворала. И мать просила бога, чтобы не дал ей умереть.

– Э, инмаре, инмаре! Исцели ее как-нибудь... Помреет – где шерсть будем брать? Вон, у этого поганца носки все дырявые... Кашляет и кашляет, как лесоруб. Овечка совсем зачахла... Помоги нам, спаситель.

«Ну, поп, напугал!» – думал Роман. А вслух произнес:

– Твой бачко нарочно обманывает нас.

– Замолчи, богохульник, – перекрестилась мать, – завтра пойдем в Мувыр! Ложись немедленно. Как только третьи петухи прокукарекают, разбужу. А если перечить вздумаешь, на веревке, как собаку, поташу!

Этого Роман не предвидел.

– Зачем, нэнэ? Я все равно не пойду никуда.

– Побежишь как миленький!

– Нет!

Пораженная такой дерзостью, мать вдруг обессиленно села на край кровати. Потом упала ничком и зарыдала. Роман бросился к ней:

– Нэнэ, нэнэ! Что с тобой?

Она крепко прижала его к себе, горько вздохнув, прошептала:

– Айда сходим, сынок... Не упрямясь... От этого ничего плохого не будет. Вдруг да поможет... И сам поправишься, и овечка на ноги встанет. Я и сама приболела. А ежели товарищей стесняешься, ночью сходим. И крест не будем на шею вешать. Бачко даже в церковь не поведет, у себя дома окрестит.

Роман молчал, потупившись. Ему не хотелось идти, но боялся отказаться прямо, чтобы снова маме плохо не стало.

А мать продолжала уговаривать:

– Ну, чего молчишь? Слушай, а я ведь в Мувыре хотела буханку хлеба казенного купить. Белого! \* Хочешь попробовать? Если рано выйдем, поди, успеем достать.

Перед таким соблазном Роман не устоял. Представил себе темно-коричневую, волшебной пахнущую буханку – и даже голова закружилась. Представил, как отрезает большой хрустящий ломоть, откусывает, жуёт...

Нет, никогда бы не пошел он к попу, если бы не хлеб. И не какой-нибудь, а казенный! «Ладно, – решил он, – к попу пойду, а в бога верить не буду...»

В Мувыр вышли за полночь. Ночь была темная и такая холодная, что, казалось, плюнь – слюна на лету застынет. Нэнэ поверх шапки повязала ему свой старый шерстяной платок, оставив лишь щелочку для глаз. Вскоре взошла луна и вокруг стало светло, как днем. Деревья покрылись кружевными накидками из инея. Снег под ногами хрустел как-то особенно вкусно. Они шли быстро, чтобы не замерзнуть.

Полпути одолели незаметно. Вошли в бор, растущий на склоне лога. И вдруг из чащи донесся протяжный, тоскливый вой. Казалось, совсем рядом завывали волки. Роман от страха на месте застыл. По спине пробежали мурашки. Мама схватила его за руку, дернула к себе, и они изо всех сил побежали вперед – в сторону Мувыра.

А звериные голоса всё ближе:

– У-у-у-у! У-У-У-У!

Роману казалось, что он не бежит, а летит. Вдруг мама, совсем задохнувшись, остановилась, сняла варежки и торопливо полезла в карман. Роман недоуменно смотрел, как она достает спички, скомканную бумагу. Отломив от «гребенки» спичку, она чиркнула ею, зажгла бумагу. «Зачем это? – удивился Роман. – Руки греть собирается, что ли?»

– Тёбо, тёбо! Кыш, проклятые! Кыш! – крикнула мама.

---

\* Тогда «белым» называли чистый ржаной хлеб.

Он обернулся и увидел: по дороге бегут волки. У Романа сердце в пятки ушло.

– Нэнэ! Боюсь!.. Нэнэ-э!

– Тёбо! Тёбо! – еще громче крикнула мама.

Видимо, испугавшись ее крика и огня, волки остановились. Но как только бумага погасла, они снова затрусили вперед, как большие ленивые собаки.

Мать вытащила новые комки.

«Наверное, еще дома приготовила», – подумал Роман, глядя, как она поджигает очередной газетный колобок. Потом, подхватив Романа, она потащила его за собой. Так повторилось несколько раз. Роману чудилось уже тяжелое, смрадное дыхание наступающей стаи. Он устал, ноги его начали заплетаться, но мама продолжала бег и он тянулся за ней из последних сил. Но вот, задохнувшись, она остановилась совсем, и Роман прижался к ней, боясь оглянуться. Затем все же осмелился покоситься на дорогу и с радостью обнаружил, что они стоят уже на улице Мувыра, а волки отстали. Вместе с радостью навалилась непонятная слабость, перед глазами замелькали тысячи зеленовато-белых искр, потом вокруг потемнело, к горлу подкатила тошнота. Померещилось, что падает в бездонную пропасть. Очнувшись, он увидел, что мама, зачерпнув горсть снега, растирает себе лоб. Затем она простонала:

– Господи, помилуй! Убежали... – и, круто повернувшись к Роману, сказала. – Всё из-за тебя, лешака беспутного! А ну, как догнали бы? И лаптей бы не оставили!

Услышав привычные, в общем-то беззлобные упреки матери, Роман успокоился. Если бы не жаль было сутулившуюся нэнэ, он бы, наверное, рассмеялся на ее слова:

– Ах ты, ишан! Ах ты, злой дух! Отдышавшись, мама спросила:

– Где мои варежки? Я тебе их давала.

Роман опустил голову. Убегая от волков, он потерял их.

– Эх ты, антихрист, – укорила его мать. – Ну, пойдем! Чего стоишь? Волков дожидаться?..

Поповский дом был рядом с церковью. Отец Миколай, весь заспанный, обросший, с длинной нечесаной гривой; провел их в полутемную каморку.

В углу одиноко мерцала свеча.

Когда глаза привыкли к сумеркам, Роман заметил в углу, возле высокого, похожего на стол сооружения, огромный банный котел, слегка поблескивающий в бликах свечи. Котел был наполнен темной, почти черной жидкостью.

– Может, без купания обойдемся, бачко? – дрогнувшим голосом спросила мама. – Он ведь большой уже. Да и замерзнет, поди, когда выйдем на улицу. Лицо бы ополоснул и ладно...

– Ну, хорошо, – ответил отец Миколай. – Можно и так.

Он разговаривал густым басом и приглаживал свои длинные, как у женщины, волосы.

Бачко ополоснул Роману лицо, крест-накрест мазнул его по лбу, ладоням и пяткам какой-то пахучей жидкостью. А сам бормотал в это время непонятные слова. Впрочем, Роман и не вслушивался особенно в то, что говорил поп. Его беспокоило другое: «Ох, если в школе узнают... Что будет?» Но, отгоняя опасливые мысли, маячила перед глазами заветная буханка. Ее ни с чем не сравнимый дух так и витал рядом, щекотал ноздри, выжимал обильную слюну, туманил голову...

Потом мать отвела его в школу. Ему казалось, что все знают о его крещении. Он сидел, опустив голову. Даже голос учительницы еле слышал. Всё думал: «Вот сейчас кто-нибудь засмеется...»

А потом как-то незаметно вновь подкралась к нему та буханка – белая, мягкая, душистая!.. Особенно медленно тянулся последний урок. Он вдруг с ужасом подумал: «А что, если нэнэ не купила хлеб? Вдруг денег не хватило?» От этой мысли он весь покрылся испариной и тут же принялся успокаивать себя: «Да, раз сказала, обязательно купит! Ну, конечно! А сколько, интересно? Целую буханку? Или половину?»

Это был самый длинный в его жизни урок.

Мигом пролетел он расстояние от школы до дома. Летел, как на крыльях. Дверь не заскрипела, а запела ему навстречу. С грохотом захлопнув ее, Роман, не раздеваясь, бросился на кухню. И вот – о, величайшее из всех чудес света! На столе лежала целая буханка темно-коричневого, поджаристого, казенного хлеба! Ура-а-а!

У Романа даже дыхание сорвалось.

За столом сидела мама. Но даже ее заслонил хлеб. Хлеб ослепил его, притянул к себе. Роман схватил буханку, прижал ее к

себе, ткнулся носом в маслянисто поблескивающую корочку. О-о-о! Какой волшебный, непередаваемый запах!

Досыта надышавшись им, он поцеловал хлеб. И вдруг замер, услышав странные звуки. Мать, сидящая на лавке, неожиданно дугой согнулась, плечи у нее затряслись...

– Что с тобой, нэнэ? – испугался Роман. – Скажи, нэнэ, отчего ты плачешь?

Она смахнула слезу кончиком платка:

– Зубы, сынок... Зубы заболели...

Причину ее «зубной боли» он понял лишь много лет спустя. А тогда.

Тогда они договорились растянуть эту буханку на неделю. Роман сам так предложил. Правда, на первый раз мать заставила его съесть сразу целую горбушку. Не так уж толсто отрезала, но он был невероятно, непередаваемо счастлив. Осторожно откусил и, когда солоноватый, приятно-пряный комочек оказался на языке, Роман на мгновение замер, прежде чем начал жевать. Минут десять крутил его во рту, словно старался на всю жизнь пропитать язык божественным ароматом. Из оставшегося ломтя он сделал «бутерброд»: отрезал ломтик своего, тяжелого и липкого хлеба, который был испечен из клеверной муки вперемежку с картошкой, сверху положил «казенную» горбушку и стал есть, запивая козьим молоком. Вкуснотища! А мама свой хлеб не доела: сказала, что сыта, и протянула ему. Роман поотнекивался для порядка, а потом съел и ее ломоть. <...>

*Перевод В. Емельянова*

## **МИХАИЛ ПЕТРОВ**

(1905 – 1955)

Родился в д. Монашево (Республика Татарстан) в семье крестьянина-бедняка. Рано осиротел. Автор сборников «Родник» (1934), «Стихи и песни» (1939), «Стихотворения» (1955), включающих в основном гражданскую и патриотическую лирику и стихи социальной направленности; лироэпических поэм «Слово к родному народу» (1938), «Песня не умрет» (1954) и др. Среди прозаических произведений – очерки, рассказы, повесть «Перед рассветом» (1952), исторический роман «Старый Мултан»

(1954), над которым писатель работал около 20 лет. Переводил на удмуртский язык произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова, Л.Н. Толстого, А.А. Фета, А.Т. Твардовского, Д. Байрона, А. Мицкевича, Г. Гейне, Я. Райниса, Т. Шевченко, И. Франко, К. Хетагурова, М. Гафури, М. Джалиля, А. Навои и др.

## Старый Мултан

*Отрывок из романа*

Перед судом один за другим проходили свидетели – пятьдесят один человек: из них сорок пять вызванных обвинением, шесть человек – защитой.

Шестой день шло заседание суда, чувствовалось, что присяжным уже надоело бесконечное сидение. Стараясь изучить присяжных – а их было двенадцать человек, – Короленко подолгу рассматривал каждого. Особенно угнетающее впечатление производил торговец с грузной фигурой, с густыми волосами, подстриженными в скобку. Он сидел, выковыривая спичкой грязь из-под ногтей, и своими серыми глазками неприязненно поглядывал на подсудимых. Рядом с ним дремал старик с безобразно ожиревшим лицом.

Скривив рот, он вдруг вздрагивал, просыпался, тупо смотрел в сторону обвиняемых и качал головой.

Особенно тяжело становилось на душе Владимира Галактионовича, когда он смотрел на этих двух присяжных. Они, не дрогнув, подпишут любой приговор: каторга так каторга, виселица так виселица.

За шесть суток Владимир Галактонович ни одной ночи понастоящему не спал: снова и снова перечитывал он обвинительный акт, делал выписки из книг и журналов по этнографии, читал «Творения Тертуллиана», книги Каспера и Гофмана по судебной медицине.

– Наш Владимир Галактонович готовится сдать экстерном на этнографа, – шутил Карабчевский.

– Смех смехом, – заметил профессор Кузнецов, – а на душе у него, наверное, очень тяжело. Дочка, оказывается, серьезно больна. Вчера мне карточку показывал, совсем маленькая, года нет. Говорил о ней, а у самого слезы на глазах. И тут – неиз-

вестно, чем дело с судом кончится, и там – исход болезни неясен. Если и то и другое обернется против него, Владимир Галактионович не выдержит, сляжет.

Но, рассказывая все это Карабчевскому, Кузнецов, так же как и сам Владимир Галактионович, не знал, что восьмимесячная Оля Короленко скончалась вскоре после отъезда отца.

На седьмой день суда после обеденного перерыва выступили с обвинительными речами Раевский и Симонов.

На следующий день заседание началось речью защитников Красникова и Дрягина.

Между Короленко и Карабчевским разгорелся спор: кому раньше выступать? Карабчевский – известный всей России адвокат, поэтому Короленко хотелось выступить до него.

– Говорить после вас, – все равно что после хорошей метлы граблями возить, – сказал Владимир Галактионович.

Карабчевский, тряхнув копной волос, положил обе руки на плечи Короленко:

– Знаете что, Владимир Галактионович, из всех речей самой лучшей будет ваша. Уверяю вас. Да что я, собственно, стараюсь убедить вас, потом сами увидите.

– Разумеется, увижу, – рассмеялся Короленко, – увижу, как сяду в лужу и останусь в дураках. Ну, что бы там ни было, а грех все-таки будет на вашей душе. Хорошо, я буду говорить после вас.

Четыре часа говорил Карабчевский, тем не менее не только публика, но и присяжные слушали его речь, затаив дыхание.

Наступила очередь Короленко. Несколько робко подошел он к кафедре. С минуту постоял, о чем-то думая, провел рукой по густым волнистым волосам, зачесанным назад, и начал сразу искренне и горячо:

– Господа присяжные! Перед вами семь обвиняемых, семь удмуртов. Вместе с ними перед вами на скамье подсудимых весь удмуртский народ. Ваш приговор вот этим семи обвиняемым может явиться для всего удмуртского народа страшным ударом, но он может еще войти в каждую удмуртскую деревню, в каждую удмуртскую избу, как весеннее утро.

Перед вами семь удмуртов, представители народа, который не одно столетие живет вместе с русскими и учится всему лучшему у этого великого народа.

Обвиняемые поставлены в чрезвычайно тяжелое положение. Против них вызвано больше сорока свидетелей, среди которых два полицейских пристава, четыре урядника, пять священников, два земских начальника, волостной старшина, старосты, странницы и нищие, которые собирают слухи, дополняют их своими измышлениями и разносят по всей матушке-Руси. Прокурор Раевский мог бы и себя зачислить в свидетели.

Вы знаете, что на первом и втором разборе «мултанского дела» со стороны подсудимых вообще не было свидетелей. Но на этот раз защите с большим трудом, преодолевая, можно сказать, грубое сопротивление обвинения, удалось вызвать в помощь себе очень небольшое число свидетелей. Об этом факте я говорю не случайно, господа присяжные. Свидетели вызываются на суд для того, чтобы установить истину в деле, подлежащем разбору. В данном случае обвинение не было в этом заинтересовано.

На этом разборе свидетели защиты, пусть их было немного, оказали нам большую помощь, господа присяжные. И не только они, но и многие свидетели, вызванные обвинением, помогли вам понять истину. Вы сами слышали здесь, как один из них, возражая против протокола следователя, сказал: «Откуда я знаю, что писал следователь, я ему так не говорил».

В процессе разбора дела мы с вами не раз встречались с фактами, которые и удивляли, и возмущали нас. Когда читали обвинительное заключение, вы, вероятно, как и я, немало удивились следующему обстоятельству: в обвинительном акте подсудимых значится восемь человек, между тем вот здесь, за барьером, на скамье подсудимых их семь человек. Где же восьмой подсудимый? Его нет в живых, господа присяжные, он умер вскоре после первого разбора дела. Вы сами слышали, что сказал обвинитель в свое оправдание: много было обвиняемых, поэтому так получилось. Очевидно, обвинитель придерживался такого мнения: чем больше будет осужденных, тем большее поощрение он заслужит. Впрочем, его радение не пропало даром: за усердие «в раскрытии» «мултанского дела» он уже официально вызван для службы в министерство юстиции. (В зале и среди присяжных движение.) Кого он будет там предавать суду — живых или мертвых, об этом нам точно мог бы сказать лишь Ни-

колай Васильевич Гоголь, будь он в живых. Одним словом, господин Раевский натянул нос самому Чичикову.

Господа присяжные, господин председатель! Вы все слышали речь обвинителя Раевского, не лишённую красноречия, ярких красок и художественного вымысла, но вместе с тем безудержной лжи и клеветы как на удмуртский, так и на русский народ. Вместо того чтобы убедительными доводами подтвердить правильность обвинительного акта, господин обвинитель большую часть своей речи посвятил тому, чтобы настроить вас, господа присяжные, против удмуртов. Наступил голод – виноваты удмурты, вспыхнула какая-либо эпидемия – виноваты они же. Одним словом, все беды, все лишения и невзгоды народов нашей необъятной многострадальной матушки-России он свалил на плечи удмуртов. Они, мол, язычники, они не почитают бога, отсюда и все зло. Затем он здесь во всеуслышание сказал, что удмурты для человеческого жертвоприношения выбирают именно русских, потому что якобы эти два народа испокон веков враждуют между собой. Чтобы подтвердить это, Раевский привел несколько примеров мелких ссор и драк, какие обычно бывают в праздники между пьяными. Но мы знаем и другие драки, когда удмурты и русские били вместе кое-кого. Однажды они били – как они сами выражаются, «били сообща» – урядника, приехавшего в Мултан выколачивать недоимки. Здесь свидетель Иванцов тоже рассказывал, как его били. Кто бил? Удмурты и русские вместе. По истории мы знаем более крупные случаи, когда удмурты и русские поднимались вместе против своих угнетателей.

Председатель поднял свой колокольчик.

– Господин защитник, прощу говорить о вещах, имеющих прямое отношение к человеческому жертвоприношению.

– Хорошо, господин председатель. Так вот. Становой пристав Тимофеев для обыска в Мултани ведёт туда больше пятисот человек понятых. Перед тем как приступить к обыску, он собирает у пожарного сарая старост и сотских десяти деревень и говорит им: «Перевернуть все. При малейшем сопротивлении – бить!» Этот факт я привожу не случайно, господа присяжные. Становой пристав открыто подбивал понятых на погром. А что делают понятые? Я сам был в Мултани и лично беседовал с му-

жиками. Давайте и мы с вами мысленно перенесемся в Мултан и будем из двора во двор ходить за понятами. Вот восемь человек идут к Петрову Никифору. Никифор с сыном ставят новые столбы для ворот. Вместо обыска понятые помогают им ставить столбы. В другом месте они веют зерно. Во дворе Серегина Ивана, рассевшись на зеленой лужайке, слушают сказку; у соседа выхаживают лошадь, заболевшую коликами, причем сюда собирается больше тридцати человек, каждому хочется чем-то помочь удмуртской семье, попавшей в беду, ибо каждый знает, что значит лошадь для крестьянина. Я бы мог продолжить примеры, но достаточно и этих, из которых мы видим, что понятые не вняли погромным призывам станового пристава.

Простой русский народ оказался куда благоразумнее недалёковидного, не знающего его жизни Тимофеева. И, возмущенный невыполнением его приказания, пристав Тимофеев начинает сажать в каталажку одного за другим, на сей раз уже русских. До сознания станового пристава не дошло одно важное обстоятельство: в каталажку можно посадить людей, но дружбу не посадишь. Она, эта дружба между удмуртами и русскими, возникла в совместном труде, в совместной борьбе против тягот жизни, во взаимной помощи и взаимной выручке в дни невзгод и лишений.

Вот, к примеру, обвиняемых семь человек, а двое из них – Петров Никифор и Камаев Антон – из года в год пашут и сеют с русскими. У одних земля есть, лошади нет, у других – наоборот. А сколько таких работающих сообществ, и сколько по всему удмуртскому краю смешанных деревень, где живут удмурты и русские вместе!

После этого я спрашиваю вас, господин обвинитель: могли ли не знать русские, если бы у удмуртов существовал обычай человеческого жертвоприношения? Между тем обвинитель всячески старается, я бы сказал даже – изощряется, чтобы заставить поверить вас в это. Он утверждает, что в сорок лет один раз, при каком-либо всенародном бедствии, приносят в жертву не только животных, но и человека. Причем и обвинители, и эксперты утверждают, что труп убитого при этом не прячется от людских глаз, а вывозится на такое место, где его могли бы быстро обнаружить и предать земле по христианскому обычаю.

Вы знаете, господа присяжные, в удмуртском крае удмуртских деревень не десятки и не сотни, а тысячи. Следовательно, в

каждые сорок лет один раз полицией должны быть обнаружены тысячи обезглавленных трупов. Защитник Дрягин представил суду большой исследовательский труд этнографа Луппова, который пересмотрел дела Вятской духовной консистории за сто лет. Все эти шестьсот с лишним дел состоят из донесений священников, где они подробнейшим образом описывают языческие обряды удмуртов, точно указывая, какая деревня совершила моление, где состоялось моление и что было принесено в жертву. Но ни в одном из этих донесений нет даже намека на человеческое жертвоприношение. Между тем я должен заметить, что языческая вера удмуртов – явление не столь уж радостное для священников, ибо здесь дело связано с материальным ущербом, и конечно, будь хоть малейший намек на человеческое жертвоприношение, уж кто-кто, а священники не умолчали бы, они бы разоблачили это сотни лет назад, и подобным Раевскому и Акиму просто не пришлось бы открывать Америки.

Обвинитель Раевский пытается напугать вас, господа присяжные, рисуя перед вами страшные картины. «Темная весенняя ночь. Горький чад и дым разносятся по улицам Мултана. Это удмурты приносят в жертву своему злomu языческому богу голову Матюнина».

Господа присяжные, очнемся же на минуту от этого кошмарного сна. В самом ли деле Матюнин был подвешен на перекладине в шалаше Мокея Власова?

Шалаш Мокея Власова расположен в непосредственной близости от съезжей избы. В ночь на пятое мая в Мултани проездом останавливается пристав Тимофеев и ночует в съезжей избе. Я вас спрашиваю, господин обвинитель: неужели пристав Тимофеев не учуял бы этот «горький чад», который разнесся по всему селу? Притом в Мултани имеется до десятка русских дворов, в числе их дворы священника, дьякона, просвирни. И мало этого – в Мултани живет сам Мухин. Уж ему ли не учуять?

Но коль уже обвинитель так усердно старается заставить вас поверить в этот «горький чад и дым», давайте посмотрим, какому же «злomu богу» приносят в жертву голову Матюнина.

У удмуртов есть злой бог курбон, говорит нам обвинитель. Он-де требует себе в жертву жеребенка, а в сорок лет один раз – человека. Мултанцы и понятия не имеют об этом злом боге, зато

о нем прекрасно осведомлен Мухин. А сам он слышал это от кучугуртского удмурта, «немножко тронутого».

Но, надо сказать, за последнее время обвинению почему-то начинает не нравиться курбон, и полицейские с большим усердием ищут другого бога. Урядник Соковиков, например, познакомил вас здесь с такими удмуртскими богами, как аптас и чупкан. Если курбон – злой бог, то эти, наоборот, веселые, и жертв они больших не требуют, а довольствуются домашней дичью – гусем или уткой. Я позволил себе задать вопрос Соковикову – откуда он узнал об этих богах. Оказалось, ему сообщил это все тот же Мухин. Таковы сведения, полученные обвинением об удмуртских богах от «всезнающего» Мухина.

После же судебного следствия нам стало совершенно ясно, что никакого бога курбона нет, что курбон – это жертва. Тогда какому же богу принесена жертва?

Эксперт Смирнов, профессор Казанского университета, рассказывал нам здесь про седую старину. Господин Смирнов рассказал нам и несколько сказок. Судя по этим сказкам, в лесах, болотах и других подобных местах живут лешие, водяные, оборотни и кикиморы. Все они лакомятся «человечиной». В удмуртской сказке есть кукри-баба, но в русской сказке есть ее «родная сестра» – баба-яга. Что бы ни было, но на основании сказочных леших, кикимор, водяных, оборотней и прочей мелкой нечисти нельзя говорить о наличии человеческого жертвоприношения.

Прорехи «мултанского дела» господин профессор пытается залатать сказками. «Стоит ли голову ломать, – думает, очевидно, ученый эксперт, – разве не все равно, кому в жертву принесли Матюнина – курбону, керемету, водяному, лешему?» Но, рассуждая так, и я мог бы сказать: разве не все равно, кому сидеть на скамье подсудимых – ни в чем не повинным удмуртам или господину Смирнову?

Кроме указанных, обвинитель говорил нам и о других удмуртских «богах», в частности о мудоре и воршуде. Будучи в Мултане, при осмотре шалаша Мокея Власова я спросил у удмуртов, есть ли у них бог мудор. Они улыбнулись и показали на икону; стоявшую на полке в углу шалаша.

«А воршуд есть?» – спросил я. «И воршуд есть, – говорят они мне. – Перед иконой, которая в шалаше, кладем хлеб молить, это и называется воршуд». Следовательно, мудор – икона, воршуд – освящение хлеба, чего не отрицали здесь и эксперты.

Тогда обвинитель стал путать вас более злым «богом» – кереметом. Причем на этот раз он говорил не об удмуртах, а о марийцах. И случайно ли объектом были выбраны марийцы? Мне кажется, господин Раевский смотрит далеко вперед: он, очевидно, уже сейчас думает вслед за удмуртами посадить на скамью подсудимых марийцев. И, вероятно, поэтому уже сейчас, как говорится, заранее постарался нарисовать перед вами страшную картину марийского моления. «Как при страшном пожаре, все небо заволочло тогда горьким дымом...» – так начал он свой рассказ о марийцах. Но статью Андриевского в журнале «Столетие Вятской губернии», слава богу, и мы читали.

О чем же говорит Андриевский в своей статье? В тысяча восемьсот двадцать восьмом году в Сернурской волости собирается до трех тысяч марийцев. На другой день на месте моления власти находят сто тридцать четыре кострища. Об этом молении уржумский исправник в своем донесении писал следующее: «Моление прошло без всяких волнений, после тоже ничего плохого не было, и молитвы, которые читались на этом молении, свидетельствуют о тихом нраве марийцев, о послушании царю, о заботе за исправную уплату податей». Уржумскому исправнику особенно понравилось то место в молитве марийцев, где они просят у бога денег на уплату податей.

Мы же с вами, господа присяжные, посмотрим на их молитву с другой стороны. «Древний великий бог...» – так начинается молитва марийцев. Точно так же начинается любая из удмуртских молитв. Отсюда следует, что удмурты молятся нашему богу. А обвинители и эксперт Смирнов в один голос говорят: «Матюнин принесен в жертву языческому богу удмуртов». Но что это за бог? Керемет – мы уже установили – это не бог, а так называется то место, где происходит моление. Если говорить о разных водяных и кикиморах, то их господин Смирнов, сам того не подозревая, осмел. В одной из его сказок удмурт идет в лес и разводит костер. К огню костра приходят лешенята. Удмурт хватает их враз по три, по четыре и бросает в огонь; в другой сказке удмурт убивает водяного; в третьей – водяной торгует рыбой. Торговля рыбой, конечно, веселое дело, как говорил мой коллега господин Карабчевский, но ученый профессор рассказывал здесь свои сказки не ребятишкам, охочим до увлекатель-

ных сказок, а вам, господа присяжные, с целью доказать наличие человеческого жертвоприношения.

У человека, слушавшего обвинительную речь Раевского и не посвященного в темную историю «мултанского дела», вероятно, волосы вставали дыбом – в таких жутких красках старался он нарисовать всю эту нелепую подделку. <...>

<...> Владимира Галактионовича окружили защитники, этнографы, журналисты, профессора, не допущенные в качестве экспертов. Его поздравляли, пожимали ему руки.

И Раевский подошел к нему с протянутой рукой.

– Поздравляю вас, господин Короленко. Вы победили. Но когда-нибудь вы еще поймете правду, а вместе с ней и свою роковую ошибку.

Если вначале Короленко был только удивлен поздравлением Раевского, то его последние слова настолько возмутили Владимира Галактионовича, что он поспешно отдернул руку.

– Свою правду я давно понял, господин Раевский, но поймете ли вы свою ошибку, трудно сказать... – Несколько помедлив, Короленко добавил. – Нет, не поймете, господин Раевский, вы слишком далеки от народа и никогда вам этого не понять.

Раевский пожал плечами и, круто повернувшись, отошел.

– Напрасно вы с ним так резко, Владимир Галактионович, – пошутил Карабчевский. – Человек и так расстроен, его сейчас, как мне думается, мучает один проклятый вопрос: быть или не быть ему в министерстве, ведь неизвестно, как отнесутся к приговору в Петербурге.

Слова Карабчевского вызвали дружный смех всей компании. Но Короленко был серьезен.

– Будет он в министерстве, – уверенно сказал Владимир Галактионович. – Он уже достаточно сделал для своей карьеры. Слух о человеческом жертвоприношении распространился далеко-далеко. И суд над удмуртами еще не кончился! Раевских и Шмелевых немало подвизается и в разных редакциях. Так что борьба еще предстоит... А что мы тут стоим, господа, надо поздравить подзащитных.

Все семеро освобожденных стояли посреди двора, окруженные знакомыми и незнакомыми людьми.

*Перевод А. Дмитриевой*

## СЕМЁН САМСОНОВ

(1931)

Родился в д. Тыло (Республика Удмуртия). Печататься начал в конце 50-х гг. в периодике. В 1959 г. отдельной книгой издал очерк «Дорога вперед» о тружениках села. Автор очерков и рассказов на современные темы, социально-психологической повести «Люблю тебя» (1965, 1972) о жизни села, исторических повестей «Над Камой гремит гроза» (1968, 1972) и «Человек из легенды» (1982, 1987), детективной повести о милиции «Ночной звонок» (1967, 1969), очерковой книги «Между Камой и Чепшой» (1975, 1977), социально-психологического романа о современной деревне «Голуби с пути не сбиваются» (1979, 1987). Произведения С.А. Самсонова переведены на многие языки народов РФ и стран СНГ. Лауреат Государственной премии Удмуртской АССР.

### Голуби с пути не сбиваются

*Отрывок из романа*

Тоня давно уже укрепилась в своем решении не возвращаться к прежней работе с ее бумагами, телефонными звонками, от которых гудит голова, с бесконечными собраниями и заседаниями, сводками и решениями. Послала заявление секретарю райкома, оттуда ее не тревожат. Володя, правда, рвет и мечет, приезжал уже несколько раз, уговаривал. На людях он ведет себя иначе; говорит небрежно: «Послал жену в колхоз, пусть узнает труд и землю». Но Тоня знает – скандала не миновать, не может так продолжаться их жизнь, наступит какой-то конец. Тоня приготовила себя к любой крайности – к какой, она пока сама не знала. Одно твердо решила: забыть о райцентре, работать в колхозе.

Пора кончать со своим двойственным положением в нем: надо поехать в Пудгу, оформить перевод, сняться с партийного учета. Была и еще одна забота: Нину вернуть в колхоз – убежала к прокурору, а сама и носа не кажет.

Выбрав хороший денек, Тоня поехала в райцентр. Первой встретилась ей в Пудге Нина – она уже успела завербоваться на работу в Казахстан.

Тоня пыталась уговорить сестру возвратиться, уверяла, что во всем разберется, добьется справедливости, но куда там – Ни-

на и слушать не хотела, она уезжает, потому что и в прокуратуре ее не поддержали, а в райкоме комсомола, даже осудили.

Тоня поняла: настаивать бесполезно. Проводила Нину на вокзал, усадила в вагон и пошла в евдокимовский дом.

Матрена кормила во дворе кур, увидев невестку, всплеснула руками:

– Вернулась!

Тоня испугалась собственного отчуждения, неприязни ко всему, что ее вновь окружало. И сам дом показался нелюдимым, чужим. Она отвела виноватый взгляд от доброжелательно улыбающейся Матрены, увидела какие-то мешки под навесом. Что-бы хоть что-то сказать, спросила:

– Что это?

– Павол зерно получил в «Заготзерне» и нам подбросил пару мешков. Володя с ним там, – свекровь кивнула на дверь. – Павол костюм себе купил, знатно вырядился.

Тоня нахмурилась. Молча вошла в дом. В гостиной сидели за столом муж и лесник, хмельные, раскрасневшиеся. Владимир устался на жену, но не сдвинулся с места, что-то выжидал. Павол вскочил.

– Олле-ле, Ильинишна приехала! – улыбаясь во весь рот, пьяно забормотал он. – Глянь-ка, какова обнова. Законно шит, а?

Павол повернулся вокруг, показывая обнову, но Тоня прошла мимо, остановилась на пороге в другую комнату, оглядела мужа, его друга, уставленный закусками стол: деляги, махинаторы! Тянут, что плохо лежит. Стыд потеряли. В районе с зерном туго, а они мешками таскают. Тоня и раньше догадывалась – нечистая у Володи дружба с Паволом Антоновым, ох, нечистая! Не от нее ли, от этой корыстной дружбы, дом вырос? Правда, свекровь все время хвастает, что ее семья всегда была зажиточной; намекала на сбережения, драгоценности: к богатству, мол, прилипает богатство, из копейки получается рубль.

Действительно, прижимистая у Володи мать. У свекрови отрежь палец – крови не будет. О скупости Матрены ходили анекдоты. Тоня сама тому свидетель.

Как-то раз в праздник пригласили гостей из города. Стол был уже накрыт, когда Матрена вдруг стала убирать, тарелки с маслом.

– Что ты делаешь, мама? – изумленно спросила. Тоня.

– Городские едят масло ложками. Разве напасешься?!

– Боже мой, мама, разве можно так? – только и могла сказать Тоня.

– Нечего особо привечать, а то повадятся, – сказала она после ухода гостей.

Самое ужасное – и Володя такой же. Сначала Тоне нравилась его бережливость, деловитость. Она целиком доверилась мужу, отдавала ему всю зарплату. Володя: знает, что и когда покупать, за какую цену. Практичный. Но он никогда ничего не делает обычным порядком, все приобретает через дружков, почти задарма: договаривается с пьяницами, а те за бутылку водки готовы реки вспять повернуть, весь лес из лесу вывезти.

Владимир тяжело встал, потянулся к Тоне. Она скрылась за дверью, заперлась, прижалась лбом к оконному стеклу.

Фу, вот снова стаканы звенят! Павол Антонов стучится в дверь: «Ильинишна, уважь, выйди к честному народу!» Тоню прямо-таки подмывало наброситься на Павола, вытолкать его за порог. Но бесполезно: разве поймут пьяные?

А из-за двери слышно, как бахвалится Павол перед Матреной:

– Самые лучшие луга, тетя Матрон, выделю вам. Это уж как закон. Косить пойдешь – одевай свадебное платье.

Так и не вышла Тоня к мужу и гостю, уснула взаперти.

А утром, ни слова не говоря, пошла в райисполком, оформила увольнение и перевод зоотехником в колхоз «Кизили», снялась с партийного учета, распрощалась со всеми.

Мужа дома не застала, уехал по каким-то делам. Тоня даже обрадовалась его отлучке, быстренько побросала и чемодан самое необходимое и только потом сказала недоумевающей Матрене:

– Уезжаю я работать в колхоз «Кизили». Насовсем. Райком направляет.

– А муж, Володя-то мой! – ахнула Матрена.

– Если любит – приедет ко мне. А нет... не верно, он живет, не кончил бы плохо. Я не хочу быть соучастницей его махинаций.

– Смотри, невестка, одной жить – небо коптить.

Тоня не стала спорить, объясняться. Взяла чемодан, попрощалась и ушла из дома. Все в нем ей опостылело.

Вернувшись домой и не застав жены, Владимир с горя напился, разбил вдребезги всю посуду. А утром, махнув рукой на советы матери, отрубил:

– Помается и вернется. Никуда не денется. На поклон не пойду, и шум поднимать не к чему. Партийное поручение выполняет. Нельзя противодействовать. Я это понимаю.

Весна. Дороги развезло: вода вперемешку со снегом. И все-таки это не осенняя слякоть, когда не хочется выходить на улицу. Солнце на улице веселое, ласковое.

В «Кизили» трудная пора. Все заготовленное прошлым летом зима съела, коровы остались без кормов. В амбарах и складах все подчистили под метелку. Места, где стояли в поле скирды с сеном и соломой, разворошили вилами и лопатами, соскребли остатки. Правда, Егор Матвеевич какими-то путями достает помаленьку то сено, то солому на стороне – тем и живет колхоз.

Тоня все дни пропадала на ферме. Там столько недостатков – сердце болью исходит. Хорошо хоть Яша Загребин во всем помогает и сочувствует. Вместе с Тоней он уже наметил, где поставить доильный агрегат, что сделать в первую очередь.

Однажды в обед, собираясь домой, к тете Олене, Платонова увидела, как из телятника, чертыхаясь, выскочил Капрон Оче. Тоня сразу в телятник. Глядит – в кучу сена уткнулась Юля Соловьева, плечи вздрагивают от рыданий. Вообще-то Юля – девушка бойкая, веселая, и слезу из нее выдавить нелегко.

– Юля, дорогая, что случилось?

– Ничего! – буркнула она сердито, поднимаясь с сена и отряхивая халат.

– Чего же бригадир так чертыхался?

– А у него дня не проходит, чтоб он не ругался, идол. Чтоб ему пусто было!

– Ну, ну, зачем так, – возразила Тоня. Привыкнув к темноте, она с изумлением увидела в яслях большую кучу сена.

– Не много ли это? На сколько хватит?

– Дня на три, наверно.

Тоня удивленно смотрела на Юлю: что она задумала? Или просто не понимает, что делает.

– Три дня покормишь, а потом? Газету, что ли, заставишь телят читать? Ты же знаешь, с каким трудом досталось сено. Дома ты тоже сразу на три дня задаешь сено корове?

– Дома другое дело. Дома вообще нечего бросать – сеновал пустой, а купить не на что.

«Вон в чем дело... – подумала Тоня, – болячка твоя не дает покоя. Помягче с ней надо».

– И все-таки представь, Юля, что тебе в тарелку налили супу на три дня, с аппетитом ты стала бы есть его?

– Конечно, нет, – согласилась Юля и неожиданно сказала с вызовом. – Но иногда руки совсем не лежат к работе!

– Какая тебя оса ужалила? Да уж полно, Юля!

– Что полно, что полно? – закричала Юля. – Когда зашел Капрон, я спросила его насчет зарплаты. Телку, говорит, продай в колхоз или сдай сто литров молока. Корова старая, говорю, поэтому телку себе оставляем. Так что он выкинул, поганец! «А если старая корова молока не дает, себя дой». Со зла-то и выпалила глупость: «Откуда молоко-то, когда спишь с подушкой?» Он по-своему, охальник, все понял, начал приставать. Ну, я и закатила ему оплеуху. Выскочил, как ошпаренный. Пригрозил, что ни одной копейки не получу. Для чего же мне работать тогда, Антонина Ильинична?

Не ожидала Тоня такой исповеди. Видно, здорово допекло девушку. Тоня смутилась, расстроилась: что она могла ответить Юле? Конечно, поганец этот Капрон Оче.

Вот что открывается при непосредственном соприкосновении с действительностью. Почему же раньше Тоня над этим не задумывалась? Наверно, были тому причины.

Когда работала в райцентре, жизнь колхозников видела сквозь бумаги, с человеческими болями и трудностями сталкиваться не приходилось, даже в нередких командировках по хозяйствам района. Приедет в колхоз – все разговоры о планах и обязательствах, о молоке и мясе, о кормах и кормлении. Но ведь всем этим занимаются люди. Однако то, как живет человек, что у него на сердце – не интересовало. Вернее, не так, чтобы уж совсем не интересовало, нет. Просто на самого человека всегда почему-то времени не хватало. Вечная торопливость! А жаль. Можно бы узнать такое, о чем кабинетные люди и слыхом не слыхивали. Как вот сейчас, например... Да, подлый этот Капрон Оче. И еще ходит в бригадирах! Права была, ох, права тетка Дарья, когда сказала: «Хоть бы собраться как-нибудь да поговорить о людях». Надо обсудить с председателем поступок Капро-

на Оче, нельзя его так оставлять, надо предпринять какие-то меры, разобраться с Юлей, помочь ей.

Прямо с фермы Тоня пошла в контору, на крыльце правления догнала председателя – он шел туда. Всякий раз при встрече с Тоней Егор Матвеевич задавал ей один и тот же вопрос:

– Что нового? Как дела?

Первое время Тоня добросовестно рассказывала, но скоро поняла, что председателя ее новости нисколько не интересуют, слушает вполуха и торопится уйти по своим делам. С тех пор, как Тоня перевелась в колхоз зоотехником, он сразу перестал с ней разговаривать с прежней вежливостью.

<...> В своем кабинете Егор Матвеевич разделся, аккуратно повесил на вешалку пальто и шапку. Лоб у Матвеева бел и широк, блестит, будто маслом вымазанный. А лицо черное. Над правой бровью маленькая, с горошину; коричневая бородавка. Нос горбатый, острый. Егор Матвеевич вынул из внутреннего кармана расческу и тщательно собрал волосы с макушки и висков на лысину. «Три волосинки, и все густые», – вспомнила Тоня остро-ту Пети и чуть не прыснула, глядя на Егора Матвеевича.

– Так говоришь, у Соловьевых корова старая? – Матвеев уселся за стол и закурил папиросу. – Но с теленком-то что? Или тоже стар и нельзя продать в колхоз? Не верьте вы им, Антонина Ильинична! Все они только о себе думают, нет, чтобы помочь колхозу. И правильно; что зарплату задерживают – нет у людей сознания на добровольность.

Тоня поняла: от разговора о самом обращении Капрона Оче с Юлей председатель попросту уходит, видно, считает его не заслуживающим внимания. «Ладно, – решила она, – все еще впереди, – пусть будет сперва материальная сторона дела».

– Нельзя, Егор Матвеевич, чтобы личное хозяйство осталось без коровы.

– Мастера они находят всякие причины. Если всем верить, то колхоз без единого теленка останется. А за то, что разбазаривает сено, ее нужно выгнать с фермы.

– А дальше что?

– Как что? Дадим, конечно, другую работу. Без дела не оставим.

– Ох, Егор Матвеевич! Так мы человека еще больше обидим. Будет ли она работать лучше?

Председатель поднялся, подошел к форточке, выбросил недокуренную папиросу. Заходящее солнце просветило большие уши Матвеева, и они загорелись ярким пламенем. Тоня выжидательно поглядывала на широкую спину. Что-то обдумав, Егор Матвеевич вернулся за стол, тряхнул счетами, отодвинул папки и газеты.

– Не понимаю вас, Антонина Ильинична, – начал он. – Передо мной ровно не зоотехник колхоза, а адвокат. Вам было бы более к лицу заботиться о росте общественного поголовья и работать над составлением перспективного плана продажи государству молока и мяса. Прийти работать в колхоз и начать с заботы о частной собственности – это, Антонина Ильинична...

– Вы не так меня поняли, Егор Матвеевич, – Тоня даже похолодела от такого поворота разговора. – Я же говорю о человеке, о его нуждах.

– Я хорошо понял, о каких нуждах вы говорите, – председатель взял красный карандаш и поставил на календаре восклицательный знак. – Но последуем вашей логике и допустим, что мы не возьмем телят у колхозников. Подскажите, как мы увеличим стадо?

– За этим я и пришла, – несколько обескураженно созналась Тоня и начала рассказывать о своих планах, наметках, соображениях.

Егор Матвеевич вроде бы внимательно слушал, но глаза его были безучастны, пусты.

Тоне стало скучно. Она уже хотела уйти, как в дверь протиснулся старик в заплатанной телогрейке, замызганной шапке, с посошком в руке. Брюки на коленях вздулись, как пузыри.

– Можно зайти или нельзя, Егор Матвеевич? Не помешал ли? – спросил он с порога. – Домой идти – затемнеет, дороги нет.

– Вот-вот, смотрю на тебя и то же самое думаю, Николай, – Матвеев приподнялся, протянул руку. – Чего, думаю, по такой беспутнице заглянул сюда Загребин? В гости к сыну небось?

– Какое там – в гости! – старик замахал руками. – Одно осталось – у родного сына милостыню выпрашивать. Не приведи бог! Сам знаешь, Егор, пенсию не получаю, жена померла, дети забросили меня одного. Никто не помогает. Вот я и пришел поговорить. Нельзя ли часть Яшкиной зарплаты выделить мне?

– А с Яшкой-то разговаривал? Сам-то он как?

– О чем я буду с ним говорить?

– Без него, Николай, ничего сделать не сможем. Что может – сам отдаст, а если не захочет, без суда ничего не получишь.

Тоня слушала старика с возрастающим недоумением. Не может быть, чтобы Яша Загребин не помогал отцу!

– Так-то это так, – старик согласно закивал головой, смахнул слезу. – А много ли у Яши трудодней? Умеет ли он деньги хранить, не пропивает ли?

– Не слышно, чтоб пил. А работает хорошо. Вот с ней он работает.

Старик оглядел Тоню быстрым и острым взглядом, будто ощупал с ног до головы. Тоня даже застыдилась, покраснела.

– Так, так... Недавно, сказывают, деньги давали. Много ли получил-то он? – снова спросил старик у Матвеева,

– Не знаю, Николай, не считал.

– Это бывает. Все в голове не удержишь. Так, значит, без суда нельзя? – старик нерешительно поводит палкой по полу.

– Нельзя, Николай.

– Ты бы поговорил с ним, Егор. – Поговорить мы поговорим.

– Так, так. До свидания! – Загребин нахлобучил шапку и без лишних слов вышел.

– Кто он? – спросила Тоня. – Отец Якова Загребина?

– Он, – протянул Матвеев. – Когда был молод, прыгал с места на место, порхал, как белка, детей от себя всех разбросал, а теперь ждет от них помощи. Живет в совхозе. Говорили, женился на другой.

Тоня задумалась. Вот как бывает: с виду человек вроде хороший, а присмотришься – червоточина... Но хорошо ли, что Яша родного отца совсем оставил? Был бы у Тони жив отец, она бы за ним, как за ребенком, ухаживала.

– Ну так, какие же смещения и перестановки вы задумали? – прервал ее размышления председатель.

– Я думаю, – рассеянно проговорила Тоня, – заведующей на свиноферме надо поставить тетю Дарью. Хороший она человек, организатор неплохой и работать любит и умеет. С теперешним заведующим все свинарки между собой перегрызутся.

– Да, да. Правильно, пожалуй, – неожиданно согласился Егор Матвеевич, хотя расчет у него был другой, но Тоне об этом знать не обязательно.

– А теперь о Тылошурской ферме. С одной Лебедевой мы далеко не уйдем. Надо заботиться о всей ферме. Я прошу, вас не делать Лебедевой исключения, это разлагает весь коллектив.

Матвеев сразу понял, куда клонит Платонова. О Лебедевой они спорили еще тогда, когда, будучи районным зоотехником она приезжала в колхоз по заданию райкома оказать помощь доярке в постановке рекорда. Теперь Тоня сама здесь за все в ответе. Как же Матвееву на этот раз поступить с ней?

– Смотрите сами, Антонина Ильинична, ферма теперь в ваших руках. Но рацион для коров Лебедевой сейчас заменить нельзя. Она по всему району идет впереди.

– Откуда это вы взяли? – удивилась Тоня.

– Вот сводка, – Матвеев поднял со стола газету. – Можете сами посмотреть. Напечатано.

– Но это же неправда! Очковтирательство это, – отрезала Тоня, посмотрев газету. – Сводка липовая. И вы сами это знаете.

– Как липовая?! – Матвеев старался сделать вид, что удивлен и возмущен подобным предположением, но у него ничего не вышло. Он явно лгал. И сам знал, что лжет. Председатель покраснел.

– Я вчера просматривала документы. Восемь телок отелилось, а они нигде не числятся как дойные коровы. Их молоко приписывается Лебедевой. Преступление это, а не рекорд!

– Мы, кажется, друг друга не поняли, – хитровато усмехнулся председатель, пытаясь найти с Тоней общий язык. – К чему ершиться? Пора бы понять, что иногда приходится не так, как хочется. Это политика. Все доярки района смотрят сейчас на Лебедеву, равняются на нее. Сам Гондырев лично этим занимается.

– Липа все это! – выпалила Тоня. – И секретарь должен знать – липа!

– Вот как? – председатель испуганно посмотрел на Тоню, повторил. – Вот как дело-то оборачивается. Я бы не советовал, Антонина Ильинична, идти наперекор. Надо понимать: Лебедева уже вышла на арену в районном масштабе.

– Обман есть обман. Тем хуже, что он приобрел районный масштаб. Тем опаснее. А если в районе начнут рассуждать так же? Обман надо пресечь в зачатке. Для Лебедевой отдельный корм, для Лебедевой молоко телок. Разве другие доярки – дуры, ничего не понимают? Колхозники ничего не видят? Страшное дело мы поддерживаем, прикрываем – ложь. Нельзя так дальше.

Председатель посерел, несколько раз с остервенением вытер вспотевший лоб, встал.

– Не надо зарываться, Тоня, – заговорил он просительно и даже перешел на «ты». – На нас же и посыплются шишки... Уже

поздно. Утро, как говорят, вечера мудренее. Иди, отдыхай, подумай. А вообще ты, возможно, права. Но пойми, бывает, и ложь нужна. Политика, будь она неладна. <...>

*Перевод В. Чубатого*

## **МИХАИЛ ФЕДОТОВ**

(1958–1995)

Родился в д. Ворцы Удмуртской АССР. По происхождению бесермянин. Печататься начал в 1974 г. в газете для детей «Будь готов!». Автор сборников «Белые лебеди возвращаются» (1986), «Желаю добра» (1988), «Боль» (1991). Его лирика носит исповедальный характер; основные мотивы – любовь к родной земле, отчужденности, борьба добра и зла. Автор научных статей о бесермянах, живущих на северо-западе Удмуртии, а также среди татарского и русского населения.

### **Исчезнувшая деревня**

Красивые люди здесь жили когда-то.  
А нынче – иная эпоха.  
Прогнившие избы глядят виновато  
На заросли чертополоха.  
И улица бывшая, будто печалась,  
Кугой заросла да пыреем.  
Столбы от ворот заскрипели, качаясь:  
«Стареем, ребята, стареем...»  
Когда-то на них купол неба держался.  
А нынче здесь дикое поле.  
На память о бывшей деревне остался  
Лишь сгусток отчаянной боли.  
Как будто нелепое землетрясение  
Разрушило все беспощадно.  
Один, словно память о вечном спасенье,  
Живет здесь старик безлошадный.  
Вздыхая, он молвит прохожим случайным –  
Охотникам и рыболовам:  
– Не хочешь построиться рядом, начальник?  
Помочь могу срубом еловым...

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие .....	3
<b>БАШКИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА .....</b>	<b>4</b>
Акмулла .....	4
Зайнаб Бишева .....	5
Равиль Бикбаев .....	13
Рами Гарипов .....	14
Мажит Гафури .....	15
Мустай Карим .....	19
Сайфи Кудаш .....	28
Салават Юлаев .....	29
<b>КОМИ ЛИТЕРАТУРА .....</b>	<b>31</b>
Каллистрат Жаков .....	31
Иван Куратов .....	32
Александра Мишарина .....	33
Николай Попов .....	34
Владимир Тимин .....	36
Иван Торопов .....	37
Вениамин Чисталев .....	42
<b>МАРИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА .....</b>	<b>50</b>
Юрий Артамонов .....	50
Геннадий Гордеев .....	60
Никон Игнатъев .....	67
Миклай Казаков .....	71
Валентин Колумб .....	72
Никандр Лекайн .....	74
Ипай Олык .....	84
Миклай Рыбаков .....	88
Анатолий Тимиркаев .....	97
Сергей Чавайн .....	98
Шкетан Майоров .....	99
<b>МОРДОВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА .....</b>	<b>108</b>
Кузьма Абрамов .....	108
Александр Арапов .....	113
Максим Бебан (Бябин).....	113
Александр Доронин .....	115
Числав (Вячеслав) Журавлев .....	120
Макар Евсеев .....	120
Николай Ишуткин .....	123
Василий Коломосов .....	123
Юрий Кузнецов .....	128
Валентина Мишанина .....	134

Раиса Орлова .....	142
Леонид Седойкин .....	143
Александр Шаронов .....	144
ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА .....	150
Фатих Амирхан .....	150
Мажит Гафури .....	157
Амирхан Еники .....	159
Хади Такташ .....	168
Габдулла Тукай .....	169
Хасан Туфан .....	173
Сибгат Хаким .....	175
Ренат Харрис .....	176
УДМУРТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА .....	177
Ашальчи Оки .....	177
Трофим Архипов .....	178
Николай Байтерьяков .....	188
Флор Васильев .....	189
Григорий Верещагин .....	191
Кедра Митрей .....	192
Герд Кузубай .....	196
Михаил Коновалов .....	197
Генрих Перевошиков .....	200
Михаил Петров .....	207
Семён Самсонов .....	217
Михаил Федотов .....	226

---

*Учебное издание*

## **ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ**

### **Хрестоматия**

Редактор *А.Г. Сурикова*

Компьютерная верстка и правка *Е.В. Шигильчевой*

Подписано в печать 20.09.2012. Формат 60×84/16.

Бумага газетная. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 13,25. Уч-изд. л. 12,89. Тираж 100 экз. Заказ № 587.

Издательство Чувашского университета  
Типография университета  
428015 Чебоксары Московский просп., 15



ISBN 978-5-7677-1685-2



9 785767 716852